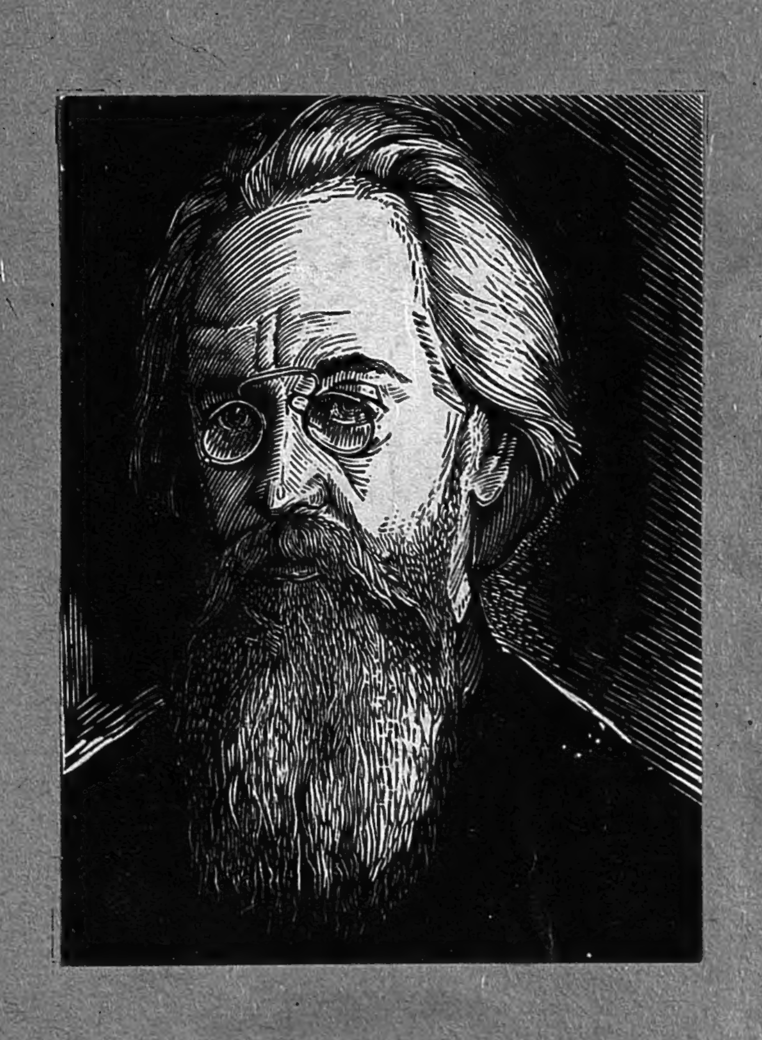
Б. И. ГОРЕВ

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ



19 ОГИЗ 31
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ НАРОДОВ СССР
Под редакцией С. А. Пионтковского и Б. И. Горева

Б. И. ГОРЕВ

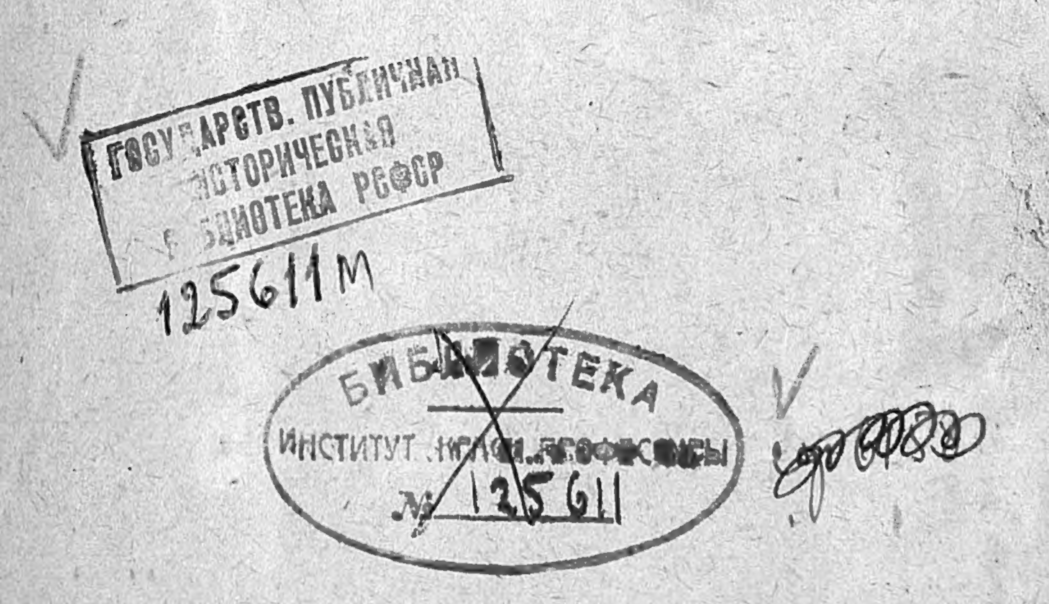
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ

Его жизнь, литературная деятельность и миросозерцание

ОГИЗ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1931

ОТ АВТОРА

Настоящая брошюра представляет собою дополненное и исправленное издание биографии Михайловского, вышедшей в 1925 г. в „Биографической библиотеке“ Государственного издательства.



Типография Издат. „Молодая Гвардия“. Ленинград, В.О., 5 лин., д. 28. Зак. № 4843.
Ленинградский Областлит № 70594. Тираж 7.100 экз. Печатн. лист. 6.

Введение

Умерший больше четверти века тому назад знаменитый русский писатель Николай Константинович Михайловский является одной из крупнейших фигур в истории общественной мысли России. Большой знаток общественных наук, в изучение которых он внес много свежих и оригинальных мыслей, блестящий публицист и литературный критик, Михайловский был продолжателем Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Но в отличие от них ему суждена была длительная литературная деятельность, которая в течение 40 с лишком лет воздействовала на умы нашей интеллигентной молодежи, давая социологическое и литературно-критическое обоснование ее общественным настроениям и революционным стремлениям. Михайловский, вместе с рядом блестящих литературных имен, стоял во главе таких популярных передовых журналов, выковывавших общественные взгляды радикально-демократической и народническо-социалистической интеллигенции, как „*Отечественные Записки*“ в 70-х и 80-х гг. и „*Русское Богатство*“ — в 90-х и начале 900-х гг. С середины 60-х гг. он сталкивался со всеми, сменявшими одно другое, революционными течениями и вступил в близкие отношения с партией „Народной Воли“, а также с позднейшими организациями, пытавшимися ее возродить.

Но появление русского марксизма в 90-х гг. Михайловский встретил резко враждебно и совершенно не понял его глубоко-революционного характера. Он считал его временным, чуждым и наносным явлением русской жизни. В 1901 г., предсказывая возрождение „идей

70-х гг.", т. е. идей народничества, носителем которых хотела быть возникшая тогда партия соц.-рев., Михайловский думал, что эти идеи „вновь объединят значительную и, конечно, не худшую часть русского общества", в котором лишь в виде „островков" сохранится, между прочим, „горсть ортодоксов", т. е. правоверных марксистов. Мы знаем, как посмеялась история над этим предсказанием Михайловского. „Горсть ортодоксов", о которой он говорил с таким пренебрежением, еще при жизни его стала большой партией, партией революционных социалдемократов, игравших видную роль в русской общественной жизни, а теперь эта „горсть" в лице коммунистов правит уже 13 лет бывшей Российской империей.

Но этот же ход истории естественно сделал то, что Михайловский, бывший „властитель дум" ряда поколений интеллигенции, теперь совершенно и несправедливо забыт. Первые поколения русских марксистов 90-х гг., с Лениным во главе, выковывались именно *в борьбе* с Михайловским как главным своим идейным противником. Поэтому они, действительно, знали его. Теперешние поколения учащейся рабочей молодежи встречают имя Михайловского только в полемических сочинениях Плеханова и ранних работах Ленина. Между тем острота борьбы марксистов с Михайловским давно стала достоянием истории. Давно пора всей *новой* интеллигенции, т. е. всем сознательным рабочим и крестьянам, спокойно и беспристрастно познакомиться с интересной и разносторонней фигурой одного из талантливейших представителей старой русской интеллигенции, в течение четырех десятков лет будившего мысль и оформлявшего сознание молодежи, — и вместе с тем выяснить, что было в социальном положении и миросозерцании Михайловского такого, что оттолкнуло его от идеологии революционного пролетариата.

В то же время литературная деятельность Михайловского так тесно связана со всей историей общественной жизни России, начиная с 60-х гг., что его биография явится также краткой экскурсией в историю нашей интеллигенции, ее идей, ее классовой природы и ее борьбы с самодержавным режимом.

★

О Михайловском имеется громадная литература (один перечень этой литературы, составленный еще в 1913 г., в приложении к X тому его сочинений, обнимает около 30 страниц). Но вся эта литература занимается только или изложением его взглядов, или полемикой с ними. *Биографических* данных, освещающих этапы его жизни, в этой литературе чрезвычайно мало, а общей подробной биографии Михайловского нет до сих пор. Поэтому для составления настоящей книжки пришлось пользоваться, кроме сочинений самого Михайловского и его личных отрывочных и скудных воспоминаний (а также критических изложений его взглядов), почти исключительно лишь отдельными, разбросанными в старых журналах воспоминаниями разных писателей и революционеров, касающимися тех или иных сторон и моментов его деятельности.

Впрочем, вся его сознательная жизнь, как он сам говорит в своих воспоминаниях, до такой степени сливалась с литературой, до такой степени отражалась только в литературе, что вне литературы ее оставалось очень мало. Зато писательская биография Михайловского представляет собой внушительный памятник из десяти огромных томов его сочинений, памятник по истории общественной мысли России последней трети XIX в., причем в этой истории сам Михайловский занимал одно из центральных мест.

I

Детство и юность

Николай Константинович Михайловский родился 15 ноября (ст. стиля) 1842 г. в Мещовске, Калужской губернии, в бедной дворянской семье. Матери он лишился рано и не помнил ее. Отец его должен был служить мелким чиновником (одно время он был даже жандармским офицером), и рассказы его об обстановке службы в эпоху Николая I глубоко запали в душу ребенка. У них жило несколько крепостных слуг и, хотя отец, повидимому, был не злым человеком, тем не менее впечатления крепостных отношений, как у многих чутких дворянских детей того времени, врезались в память юного Михайловского и составили впоследствии психологическую основу того настроения, которое было так характерно для некоторой части дворянской молодежи 70-х гг. и которое он сам называл настроением „*кающегося дворянина*“.

В своих полубеллетристических очерках „Вперемежку“, в которых перемешаны действительно автобиографические воспоминания с вымыслом, Михайловский передает, между прочим, один из рассказов отца: занимая какую-то полицейскую службу в Западном крае, он получил поручение выследить шайку фальшивомонетчиков, втерся в доверие к еврею, изготовлявшему фальшивые ассигнации, и выдал его.

„Когда жид узнал, кто был отец, он разразился проклятиями. Он звал громы небесные на голову отца, проклинал его и детей его и весь род до седьмого колена... Заметьте, что отец подражал жиду, говорил

жидовским говором, с теми „вей-мирами“ и „гевалтами“, с которыми мы привыкли соединять безусловно комическое впечатление. И, однако, рассказ был страшно трагичен: нас всех мороз по коже подирал... После ужина, когда нам, детям, разрешалось еще полчаса побегать и поиграть, мы (с сестрой) в тот день не бегали и не играли, а сидели, прижавшись друг к другу, в темном углу гостиной. — Значит, мы—проклятые,— не то спрашивал, не то утверждал я Соне. Она молчала. Но я ясно видел, что она мне сочувствует и понимает, что мы—проклятые...“

В другой раз, вспоминает Михайловский, его приятеля и участника детских игр, крепостного мальчика жестоко выпороли за их общую детскую провинность, причем он и под розгами не выдал барчука и потом остался в дружбе с ним. Страшное впечатление произвела на него также попытка самоубийства одного из дворовых, отцовского лакея.

Первые сознательные годы и годы учения Михайловского протекали, впрочем, не в Мещовске, где он родился, а в Костроме, куда переехала семья и где маленький Николай поступил в гимназию. Во время пребывания в гимназии у него уже зародились и проявились наклонности будущего присяжного литератора. „К сочинительству, — писал Михайловский впоследствии, в своих статьях „Литературные воспоминания“,— к сочинительству я чувствовал склонность с раннего детства. И в гимназии и потом в Горном институте я отличался „сочинениями“ на заданные или самостоятельно выбранные темы, каковые сочинения писал не только для себя, а и для других. Из этого выходили иногда забавные недоразумения, но расположением учителей русского языка я всегда и неизменно пользовался, несмотря на свое легкомысленное поведение“.

После смерти отца, когда Михайловский был в 4-м классе гимназии, он был взят родными и опекунами из Костромы, увезен в Петербург и отдан во 2-й класс Института корпуса горных инженеров. При этом оставшееся после отца имущество, в том числе крепостные, было распродано, и он должен был воспитываться на проценты с полученного небольшого капитала. Это было в 1856 г., когда начиналось царствование Але-

ксандра II и правительство, под влиянием поражений и неудач Крымской войны, а также все усиливавшихся крестьянских восстаний, вынуждено было вступить на путь реформ.

Горный институт, куда поступил 13-летний Михайловский, был закрытым учебным заведением, ученики которого, по тогдашнему выражению, делились на „казеннокоштных" и „своекоштных", т. е. живших на собственные средства. К „своекоштным" принадлежал и Михайловский. В институте было пять приготовительных и три специальных класса, причем в приготовительных давалось общее образование, одновременно естественное и гуманитарное (т. е. по истории, литературе и т. п.), довольно широко, по тогдашнему времени, поставленное, а в трех последних классах изучались специальные науки, имевшие отношение к горному делу. Поэтому, когда впоследствии некоторые неумные противники Михайловского выдвигали против него, в качестве полемического аргумента, упрек в том, что он не „кончил курса" и, следовательно, являлся „недоучкой", он с полным правом отвечал им в своих „Литературных воспоминаниях": „Факт для меня, разумеется, не совсем удобный, но постыдного в нем, я думаю, ничего нет; тем более, что ведь и Белинского дразнили „недоучкой", и Некрасов нигде не окончил курса, и я знаю много балбесов, правильно окончивших надлежащие курсы и снабженных соответственными дипломами... Я вышел из корпуса, сдав экзамен в 3-й специальный, т. е. последний класс. Поэтому в выданном мне аттестате значится успех в таких науках, каких господа, дразнящие меня неокончанием курса, может быть, даже и не слыхивали. Разумеется, я все эти специальные знания давно растерял, но это произошло бы и в том случае, если бы я благополучно дотянул школу до конца, как это бывает со всеми, кто покидает специальность, к которой он готовился. А то, что и в этих случаях может дать систематическое школьное изучение,—известную умственную дисциплину, — я получил".

Первые годы пребывания кадета Михайловского в Горном институте ничем особенным не ознаменовались. Но постепенно и в стены этого закрытого учебного заведения начали проникать веяния времени, отголоски

пробуждающейся России: не только легальные журналы того времени, особенно „Современник“, в котором писали такие кумиры учащейся молодежи, как знаменитый русский материалист и социалист Чернышевский, его молодой друг и единомышленник, талантливый критик Добролюбов и поэт Некрасов, — но и литература нелегальная, подпольная, в том числе заграничный журнал „Колокол“, издававшийся Герценом, а затем и появившиеся в Петербурге революционные листки и прокламации. В 1861 г., когда Михайловскому было уже 18 лет, разразились известные беспорядки в Петербургском университете, в результате которых много студентов было арестовано, а самый университет закрыт. Это не могло не отразиться и на других учебных заведениях. В Горном институте в 1863 г. тоже произошла „история“, т. е. столкновение кадетов с учебным начальством, — столкновение, в котором, конечно, принял участие и Михайловский. Тогда, как он сам пишет в своих воспоминаниях, „мне было так настоятельно любезно предложено подать прошение об увольнении из корпуса, что я не мог отказаться“.

Еще до этого, под влиянием прогрессивной литературы и толков о реформах, у Михайловского пропала охота быть горным инженером, и он стал мечтать о деятельности адвоката в новых судах, причем с полудетской наивностью смотрел на себя как на будущего защитника всех обиженных и угнетенных. После исключения из Горного института, уехав на время в провинцию к родным, Михайловский еще больше укрепился в мысли избрать себе адвокатскую карьеру. С этой целью он стал усиленно читать книги по юридическим и вообще общественным вопросам. „Когда я вернулся в Петербург, — пишет он, — открыт был только первый курс (университета). Не держа экзамена и не записываясь вольным слушателем, я попробовал было ходить на лекции контрабандой (тогда это было возможно), но скоро перестал, решив, что проживу и без диплома, да и мечту об адвокатуре бросил“.

Но тот толчок в сторону изучения общественных вопросов, который был дан Михайловскому этой подготовкой к юридической деятельности, несомненно, сыграл большую роль в его дальнейшем умственном

развитии. „Юриспруденция, — как он пишет, — вскоре совсем распрощалась со мной“. Но интерес к причинам и законам общественных явлений остался.

Еще за три года до выхода из института, весной 1860 г. 17-летний Михайловский вступил официально на литературное поприще, напечатав в журнале „Рассвет“ свою первую статейку „Софья Николаевна Беловодова“ (посвященную отрывку из романа Гончарова „Обрыв“). Журнал „Рассвет“ предназначался „для взрослых девиц“ и издавался отставным артиллерийским офицером Кремпиным. Этот скромный журнальчик, по странной иронии судьбы, занимает почетное место в истории русской общественной мысли, так как он оказывал широкое гостеприимство многим начинавшим и известным впоследствии писателям. Незадолго до того именно в „Рассвете“ начал свою блестящую литературную деятельность знаменитый критик Писарев, о чем он сам рассказывал с добродушным юмором. Там писали Скабичевский, Пыпин и многие другие. Туда же попал и молоденький кадет Михайловский, который впоследствии следующим образом рассказывал об этом эпизоде: „Один мой товарищ по Горному корпусу, некий Штильке, практический человек, ныне уже умерший, смастерил компиляцию о „кофе“, снес ее Кремпину, и тот напечатал. Другой мой товарищ, К. А. Скальковский, ныне большой чиновник, всемирный путешественник и балетоман, напечатал в „Рассвете“ какую-то историческую статью. Таким образом, собственно мне дорога была как бы уже проложена“. И далее: „Статейку мою Кремпин нашел „весьма удовлетворительною“ и торжественно вручил мне за нее 13 рублей“.

Таким образом, Михайловский начал свою литературную деятельность критическим разбором женского типа, хотя, по его словам, он „тогда женщин не только не знал, а почти что и не встречал. Оторванный волею судеб с 14 лет от всякой семейной обстановки, заключенный в четырех стенах закрытого заведения и долго не имея в Петербурге никаких знакомых“, он „только перед самым своим выходом из корпуса, можно сказать, увидал женщин“. Но женский вопрос тогда прямо носился в воздухе. Молодые девушки бросали провинциальные гнезда с их затхлым „домашним очагом“,

дикостью и тупостью, и во множестве уезжали в столицу в поисках света и знания. Вот почему, спустя несколько лет, уже окончательно став профессиональным писателем, Михайловский еще ряд статей посвятил женскому вопросу.

В первой юношеской статье Михайловского, к которой сам автор много лет спустя отнесся в своих воспоминаниях с насмешкой, при всей ее наивности, уже видны зародыши будущих общественных настроений ее автора. В ней он энергично проповедует общественную деятельность и борьбу, противопоставляя их сонной пассивности „обломовщины" и „пахотинщины" (героиня романа Гончарова—Беловодова—урожденная Пахотина).

Впрочем, в то время Михайловский еще носился с мечтами об адвокатуре и не думал посвятить себя литературной деятельности. И лишь вернувшись из провинции после выхода из Горного института и быстро истратив небольшое наследство, вытребованное им от опекуна, он с середины 60-х гг. стал тем профессиональным писателем, каким он затем оставался всю жизнь. Как он сам рассказывает, он никогда не служил ни на государственной ни на частной службе и даже почти никогда не занимался педагогической деятельностью: „однажды в трудные времена давал уроки русского языка взрослому немцу и с тех пор закаялся". „Начав писать на школьной скамье, я затем уже не переставал быть литератором и только литератором, за исключением, помнится, двух лет, когда, еще не оперившись в литературном смысле, снискивал себе пропитание чтением корректур. Значит, и тут был все-таки около литературы".

Окончательное выступление на литературное поприще было вместе с тем переходом Михайловского из юности в зрелый возраст.

II

Шестидесятые годы

Эпоха 60-х гг. — одна из наиболее интересных и революционных во всем XIX в. Оживление рабочего движения — после реакции 50-х гг. — в Англии и Франции; возникновение германской социалдемократии и

бурная деятельность ее основателя, пламенного оратора и народного трибуна Лассаля; зарождение и развитие руководимого Марксом „Международного товарищества рабочих“, так называемого I Интернационала; борьба за национальное объединение Германии и Италии; наконец, гражданская война в Северо-Американских Штатах и реформы в Японии, — вот каковы были важнейшие мировые события этого десятилетия за пределами России. А в самой России — „освобождение“ крестьян, произведенное в интересах помещиков и развивавшегося капитализма и вызвавшее целый ряд новых крестьянских восстаний[1]; появление революционных кружков и организаций среди разночинной интеллигенции; польское восстание 1863 г., жестоко усмиренное и создавшее реакционное настроение даже среди значительной части так называемого либерального „общества“; наконец, первое покушение на Александра II, выстрел Каракозова 1866 г. и последовавший за ним новый взрыв бешеной реакции, правительственной и общественной, — вот та атмосфера, среди которой вступал в жизнь молодой Михайловский.

Каково было его отношение к происходившей во всем мире борьбе и каковы были те умственные течения, которые влияли на его складывающееся в эту пору миросозерцание?

Напомним читателю важнейшие литературно-общественные факты того времени. С конца 50-х гг. самым любимым органом, настоящим евангелием передовой прогрессивной молодежи, как мы уже указывали, сделался журнал „Современник“ с Некрасовым и Чернышевским во главе. И если поэт Некрасов с его „музой мести и печали“ будил сочувствие ко всем угнетенным и эксплоатируемым и любовь к крестьянству, если Добролюбов, литературный критик журнала, едко бичевал лицемерие, пошлость и трусость либеральных говорунов и противоставлял им „народ“, то есть то же крестьянство, то Чернышевский был наиболее выдающимся экономистом, философом, историком и политиком-публицистом того времени. „Великий русский

[1] Массовые крестьянские восстания конца 50-х и начала 60-х гг. наложили свой отпечаток на всю эту эпоху, которую можно считать поэтому незавершенной, неудачной крестьянской революцией.

ученый и критик“ — так печатно назвал его Маркс, обыкновенно весьма скупой на похвалы. В своих статьях в „Современнике“ он бичевал буржуазную политическую экономию, европейских либералов и нерешительных, „соглашательских“ социалистов, выступавших во время революции 1848 г. Он был последовательным и подлинно революционным крестьянским демократом и вместе с тем первым вполне сознательным и убежденным, хотя и утопическим русским социалистом; осуществление социализма он представлял себе в виде артелей-коммун, которые он рисовал в ярких, привлекательных красках в своем романе „Что делать?“, написанном уже после ареста, в крепости. Но при этом он зло смеялся над наивной надеждой социалистов-утопистов убедить высшие классы хорошими словами и примерами. „Кому охота слушаться увещаний, не поддержанных штыками!“—говорил он. Чернышевский был убежден в неизбежности в России глубокой социальной революции; но он отличался от тогдашних молодых и горячих революционеров тем, что сомневался в ее близости. В то же время он доказывал преимущества общинного землевладения и полагал, что русская крестьянская община может, минуя капитализм, перейти в высшую общественную форму — в социализм. Наконец, не будучи знаком с сочинениями Маркса, Чернышевский высказывал отдельные гениальные догадки о значении экономического фактора в истории и о значении классовой борьбы.

К тому времени, когда начало оформляться миросозерцание Михайловского, Чернышевский уже был арестован (в 1862 г.; а в 1864 г. он уже был осужден и отправлен на катаргу). Но сочинения его оказали громадное влияние на умственное развитие Михайловского, который в течение всей своей литературной деятельности чтил память Чернышевского и защищал его от нападок всех критиков и мракобесов.

Наоборот, тот литературный критик и публицист, который после ухода Чернышевского с общественной арены занял его место в симпатиях молодежи, сотрудник журнала „Русское Слово“ — Писарев никогда не вызывал восторгов Михайловского, и он еще при жизни Писарева, в 1866 г., по поводу выхода I тома его сочи-

нений, написал довольно злую и ядовитую рецензию, в которой смеялся и над некоторыми литературными приговорами Писарева и над его „многописанием" и самомнением, хотя и признавал за ним блестящий литературный талант. Дело в том, что Писарев искал разрешения вопросов социальной борьбы и общественного неравенства, главным образом, в умственном развитии личности, тогда как духовные интересы Михайловского с самого начала были направлены на явления общественные, социальные, в частности, на взаимоотношения личности и общества. Кроме того, Писарев был сторонником индустриализации тогдашней России, т. е. развития в ней капитализма, а Михайловский был враждебно настроен к этому развитию, видя в нем одни лишь отрицательные стороны.

С этих точек зрения его особенно увлек знаменитый французский мелкобуржуазный социалист-анархист Прудон, чье влияние на Михайловского, как мы еще не раз увидим, было самым сильным и длительным из всех *европейских* влияний. Прудон с большим мастерством вскрывал противоречия капиталистического строя и буржуазной политической экономии. Но, отрицая нажитую эксплоатацией крупную собственность, он явился идеологом и защитником мелкой, индивидуальной „трудовой" собственности, и весь его „социализм", долгое время господствовавший среди значительной части французских (да и не только французских) рабочих, сводился, в сущности, к рецептам взаимопомощи между мелкими собственниками - ремесленниками. Он был противником коммунизма, отрицал централизованную государственную власть и на первый план выдвигал свободу личности.

Таким образом, Чернышевский и Прудон—вот те два мыслителя, которые дали больше всего элементов для грядущего духовного облика Михайловского (одна из книг Прудона — „Французская демократия"—была даже им переведена в это время).

Что касается Маркса, то с его „Капиталом", вышедшим, как известно, на немецком языке в 1867 г., Михайловский познакомился, повидимому, около 1869 г. На него произвела огромное впечатление эрудиция автора и серьезность его доказательств. Но на общие

взгляды его Маркс почти не повлиял. Михайловский извлек из него лишь научное подтверждение его любимой впоследствии идеи о вреде и гибельности капитализма и общественного разделения труда для развития личности, для подлинного прогресса, не подчиняющего труд капиталу.

Под влиянием романа Чернышевского „Что делать?“ юноша Михайловский увлекся одно время организацией артельно-кооперативных мастерских и на одну такую мастерскую, основанную в 1863 или 1864 г., истратил все небольшое наследство, полученное им, когда он достиг совершеннолетия. Именно на это он намекает в своих очерках „Вперемежку“, где его герой очертя голову бросает все свои деньги на какое-то легкомысленное „предприятие“. Итак, уже начиная с 1864 г., т. е. с 22 лет, Михайловский стал в полном смысле интеллигентным пролетарием, предоставленным собственным силам. Мы уже знаем, что некоторое время он зарабатывал средства к жизни корректурой, пробовал давать уроки, но больше всего его тянуло к литературе, в которой, впрочем, на первых порах его преследовал ряд неудач. Те газеты или журналы, в которых он начинал сотрудничать, или закрывались вследствие материальных затруднений издателей, или по каким-либо другим причинам сотрудничество в них Михайловского обрывалось, и он все никак не мог найти себе прочного литературного „пристанища“. Только в одном из этих журналов — в маленьком библиографическом журнальчике „Книжный Вестник“ Михайловскому удалось проработать вплотную, в качестве постоянного сотрудника, около года (1865—1866), и этот период, который Михайловский сам считает настоящим началом своей литературной карьеры, сыграл огромную роль и в дальнейшем умственном развитии Михайловского, особенно в развитии его *общественных* взглядов.

В 1865 г. Михайловский познакомился с группой литераторов, в числе которых были братья Курочкины. Один из них, знаменитый в свое время переводчик стихотворений французского революционного поэта Беранже, был также редактором известного в 60-х годах общественно - сатирического и юмористического жур-

нала „Искра“. Другой брат был хозяином книжного магазина, при котором и издавался „Книжный Вестник“. Наконец, третий брат, с которым Михайловский собственно и сблизился, стал редактором этого журнальчика, печатавшего, главным образом, рецензии на вновь выходившие русские и переводные книги, и пригласил Михайловского стать его постоянным сотрудником.

Михайловский горячо принялся за дело и напечатал в „Книжном Вестнике“ ряд рецензий и небольших критических статей, которые обнаружили в этом 23-летнем, начинающем писателе и обширные сведения, и недюжинный литературный талант, и—что особенно важно—зародыши самостоятельного миросозерцания, которое окончательно сложилось спустя два-три года, когда он выступил с прославившими его статьями о сущности прогресса. Был момент, весной 1866 г., когда Михайловскому, вследствие ареста редактора Курочкина и одного из сотрудников — Зайцева, а также вследствие смерти другого сотрудника — Ножина, пришлось вести журнал совершенно самостоятельно. Он вполне справился с этой задачей, но материальные дела журнала шли все же очень плохо. Вот как рассказывает об этом сам Михайловский в своих воспоминаниях:

„Работая изо всех сил, я был очень доволен и самою работой и ее полною самостоятельностью, той руководящей ролью, которая выпала на мою долю хотя бы и в маленьком деле. Как бы, однако, даже ни преувеличенно-высоко ценил я это свое положение, а пить-есть, одеваться-обуваться все-таки надо было. Издатель, конечно, понимал это, но не особенно горячо принимал к сердцу, а впрочем, и его собственные дела шли из рук вон плохо. Я жил тогда в меблированной комнате в мансарде[1] дома Китнера у Вознесенского моста, в настоящей типической мансарде, каких в Петербурге не много. Платил за комнату, помнится, рублей двенадцать и тут же обедал за девять рублей в месяц. По этим цифрам можно судить и об остальном бюджете. Как нищий испанский гидальго[2], гордо драпирующийся в дырявый плащ, я, полный своего редакторского досто-

---

[1] Чердачная комната.
[2] Дворянин.

инства, каждый день шагал в продранных сапогах на Невский проспект в книжный магазин издателя и сплошь и рядом на просьбу о заработанных деньгах, получал предложение посидеть в магазине — не навернется ли, дескать, покупатель: все, что при вас наторгуем, ваше будет. Увы!—покупатели приходили редко и покупали мало...“

Огромное влияние на дальнейшее развитие Михайловского—влияние, охотно признававшееся им самим—имело его знакомство и дружба с другим сотрудником „Книжного Вестника“, вышеупомянутым Николаем Дмитриевичем *Ножиным.* Ему посвящает Михайловский особое место в своих „Литературных воспоминаниях“; его же—под фамилией Бухарцева—он описывает с большой симпатией и даже любовью в полубеллетристических очерках „Вперемежку“. Поэтому и нам нужно остановиться на нем подробнее.

Н. Д. Ножину во время знакомства с ним Михайловского было всего 24—25 лет. Но он, повидимому, был человек исключительных дарований и, при большой эрудиции в своей специальности—биологии, отличался также широким кругозором в общественных науках, которые он собирался реформировать при помощи естествознания. Незадолго до своего вступления в сотрудники „Книжного Вестника“ Ножин был за границей, где на берегу Средиземного моря изучал жизнь мелких морских животных. Он собирался о результатах своих исследований издать большую специальную работу, но успел напечатать лишь часть ее в „Бюллетене“ Петербургской академии наук. В „Книжном Вестнике“ он напечатал одну большую статью—„Наша наука и ученье“, посвященную критике теории Дарвина, и несколько рецензий. Но сила его заключалась в той массе научно-революционных идей, которые он разбрасывал в беседах с друзьями, особенно с Михайловским, с которым он при совместной работе в журнале чрезвычайно сблизился.

„Никогда не встречал я,—пишет Михайловский о Ножине-Бухарцеве, — такой силы анализа, такой способности к обобщению, такого быстрого усвоения фактического материала, такой неустанной, почти лихорадочной работы мысли. Пишу вполне трезво и сознательно:

Бухарцев был гениальный ум“. При этом Ножин, „можно сказать, ежедневно осыпал нас гипотезами, теориями, оригинальными сближениями, не придавая им никакого значения. Так льется вода из переполненного сосуда“.

По своим социально-политическим взглядам, довольно, впрочем, неопределенным и расплывчатым, Ножин склонялся, повидимому, к анархизму, хотя и тут питал целый ряд сомнений (в Италии он познакомился с Бакуниным и страстно спорил с ним, так что Бакунин не раз выходил из себя). Впрочем, и в этой области, как и в области отвлеченной науки, самым замечательным свойством Ножина было его уменье будить мысль, давать толчки дальнейшему умственному процессу своих собеседников. И эти толчки принесли большую пользу Михайловскому.

Уже до знакомства с Ножиным Михайловский, как мы знаем, в отличие от писаревского индивидуализма, целиком воспринял социально-политическое мировоззрение Чернышевского и Добролюбова, т. е. их презрение к либерализму, их социалистические симпатии и надежды, которые они отчасти связывали с экономическим укладом русской крестьянской жизни. Ножин направил мысль Михайловского на вопросы *биологии*, на попытку обосновать социалистический идеал соображениями, взятыми из жизни органического мира, т. е. мира растений и животных, который изучает биология. Ножину же отчасти обязан Михайловский тем, что уже в эту раннюю эпоху занялся критикой буржуазных поклонников Дарвина (особенно английского ученого и философа Спенсера), хотевших в дарвиновском законе борьбы за существование найти якобы „научное“ оправдание той борьбы, той эксплоатации слабого сильным, которая наблюдается в человеческом обществе и против которой объявили поход социалисты.

Через Ножина, как можно предположить на основании новейших данных, познакомился Михайловский и с революционными кружками того времени, а может быть, имел некоторое, правда, весьма косвенное и отдаленное отношение к первому террористическому покушению на царя Александра II, а именно к покушению Каракозова 4 апреля 1866 г.

Правда, сам Михайловский и в своих показаниях следователю по делу Каракозова, к которому его вызы-

вали на допрос[1], и в своих литературных воспоминаниях, писанных 25 лет спустя, категорически отрицал какую бы то ни было свою прикосновенность к этому делу. Но он всегда отличался большой осторожностью, замкнутостью и скрытностью во всем, что касалось сношений его с революционерами и революционными организациями и, как справедливо указывает известный автор многих работ о Михайловском Е. Е. Колосов, в своей статье „Н. К. Михайловский в деле Каракозова" („Былое", № 23, 1924 г.), несомненно, знал о деятельности тогдашних революционеров и, в частности, о деле Каракозова гораздо больше того, что сообщил следователю и позднее написал в своих воспоминаниях. Ножин, бывший в очень тесной дружбе с Михайловским и вряд ли скрывавший от него о своих революционных связях и знакомствах, несомненно, был близок к виднейшему петербургскому революционеру того времени, писателю Худякову, который, в свою очередь, знал Каракозова и, может быть, даже руководил его покушением. И вот Ножин перед покушением проявлял особую нервность, куда-то таинственно исчезал на несколько дней из дому, столь же таинственно и внезапно заболел и умер в больнице 3 апреля, т. е. *накануне* покушения, причем перед смертью написал письмо петербургскому военному губернатору Суворову с просьбой навестить его в больнице и выслушать от него какую-то важную тайну. Суворов не обратил на это внимания. Но после покушения следственная власть особенно заинтересовалась Ножиным, который уже раньше был на подозрении у полиции, о нем именно и расспрашивала Михайловского, причем его имя, в числе революционеров, было даже упомянуто в официальном правительственном сообщении по делу Каракозова.

Таким образом, Михайловский хранил в себе всю жизнь и унес с собою в могилу какую-то тайну, в которой были замешаны и его друг Ножин и он сам. Колосов высказывает не лишенное вероятия предположе-

[1] По этому делу была произведена масса арестов и обысков среди революционной и оппозиционной интеллигенции. В качестве подозреваемых были, как мы уже знаем, арестованы также Курочкин и Зайцев (известный сотрудник журнала „Русское Слово").

ние, что Ножин хотел *предупредить покушение Каракозова,* не дать ему совершиться, причем всегда с ним солидарный Михайловский, несомненно, ему в этом сочувствовал. Как бы то ни было, но именно в это время, т. е. в середине 60-х гг., у Михайловского начались те непосредственные сношения с революционными кружками и организациями, которые затем (с небольшими перерывами) продолжались до самой его смерти, но которые ему всегда удавалось искусно скрывать и от властей и вообще от всех непосвященных.

★

Покушение Каракозова вызвало бешеную реакцию со стороны правительства, массовые аресты и высылки, разгром всей левой печати и одновременно с этим — взрыв холопского, верноподданнического „патриотизма" в так называемом либеральном „обществе" и целую волну трусливого ренегатства, отступничества. Даже любимец всей передовой молодежи, знаменитый поэт Некрасов, с целью спасти от закрытия издававшийся им журнал „Современник", где еще так недавно писали Чернышевский и Добролюбов, решился на такой позорный шаг, как приветственное стихотворение председателю верховной следственной комиссии по делу Каракозова, кровавому палачу-усмирителю польского восстания—Муравьеву-„вешателю". Это моральное падение Некрасова не спасло его журнала: и „Современник" и „Русское Слово" (где писал Писарев) были закрыты.

Сам Некрасов несказанно терзался упреками совести и выразил это в своих стихах. Но все же его поступок в высшей степени угнетающе подействовал на его поклонников, в том числе, конечно, и на Михайловского, который сам рассказывает, как болезненно он переживал падение своего любимого поэта. Еще два года спустя он долго не соглашался вступить в число сотрудников нового прогрессивного журнала—„Отечественные Записки" [1] — только потому, что в числе его

---

[1] Этот журнал выходил непрерывно еще со времен Белинского, но до 1868 г. в руках его коммерческого издателя—Краевского—влачил жалкое существование и играл не раз самую реакционную роль.

редакторов был Некрасов. Сам Михайловский хотел немедленно после покушения откликнуться негодующей статьей в „Книжном Вестнике“ на трусливо-холопское поведение „общества“. Но редактор Курочкин (это было за несколько дней до его ареста) только в ужасе замахал руками на такое дерзкое предложение.

Между тем „Книжный Вестник“ закрылся, и Михайловский снова остался без литературной работы и, следовательно, без заработка. Как он сам передает в своих воспоминаниях, особенно туго пришлось ему летом 1867 г., „туго и от невольного, вынужденного безделья, когда только что попробовал сладкого яда литературной работы, туго и прямо от материальных лишений“. Он жил с приятелями, такими же безработными литераторами, на даче где-то на Черной речке под Петербургом, где все они вели жизнь богемы, т. е. интеллигентных „босяков“. „Уже кое-что из мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты... Уже не раз кухарка на вопрос: „В долг, что ли, в лавочке-то взять?“ получала веселый ответ: „Да, да, в долг, долг прежде всего“ [1]. Уже не раз веселое богемское житье, при котором восстав от сна, не знаешь, будешь ли сегодня сыт или нет, становилось в тягость“.

В это время Михайловского пригласили было сотрудничать в газете „Гласный Суд“. Но он успел там поместить всего несколько статей: газета закрылась за отсутствием средств. „Приближалась и приблизилась осень,—рассказывает Михайловский, — впереди зима, а зимой бывает ужасно холодно в летнем пальто“. Поэтому он уехал в деревню к родным, где засел одновременно за две работы: за серьезный труд по социологии и за роман.

Когда он в 1868 г. вернулся в Петербург, реакция несколько ослабела. Появились новые журналы: „Неделя“ и „Современное Обозрение“, а „Отечественные Записки“, которые Некрасов взял в аренду у прежнего издателя Краевского, редактировались им вместе с Салтыковым-Щедриным и талантливым публицистом Ели-

[1] Последние слова представляют собою припев одной песенки Беранже, переведенной другим Курочкиным.

сеевым и должны были объединять все, что было лучшего и наиболее талантливого в левой, передовой, демократической литературе. Старый друг Михайловского Н. С. Курочкин, заведывавший библиографическим отделом „Отечественных Записок“, стал приглашать и Михайловского, но он, как мы уже знаем, долго и упорно отказывался. Он попробовал сотрудничать в „Современном Обозрении“, которое издавал известный прогрессивный книгопродавец 60-х гг. Тиблен, но тот, с радостью принявший было и статьи Михайловского и первую часть его романа „Борьба“, вдруг в один прекрасный день внезапно убежал за границу от кредиторов, и журал перестал выходить. Не сошелся Михайловский и с „Неделей“.

А „Отечественные Записки“ под новой редакцией явно становились лучшим журналом в России и все более завоевывали сочувствие читателей. Видя это, Михайловский поддался, наконец, на новые увещания Курочкина и понес свои работы в „Отечественные Записки“.

Редакторы приняли его очень тепло, даже заставили вслух читать свой роман. При этом Михайловский почувствовал, что роман ему не удастся. Но в то же время он ясно понял, что после долгих мытарств и скитаний попал, наконец, в настоящую литературную пристань. „Я в первый раз, — пишет он, — подошел к вершинам русской литературы, настоящим, несомненным, общепризнанным... Все трое, независимо от своих собственно литературных талантов, были опытные и горячо преданные своему делу журналисты, убежденные в возвышенности задач журналистики. Не мудрено, что от этих людей и от руководимого ими дела веяло спокойною, сознающею себя силой. Примыкая к ним вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую — это как кто посмотрит, но во всяком случае прочную, смею сказать, историческую дорогу...“

Этой дорогой было *народничество 70-х гг.,* главным легальным органом которого и являлись „Отечественные Записки“ и главным теоретиком которого в области социологических обобщений стал Михайловский.

III

Первые социологические работы. Основы миросозерцания Михайловского

Когда Михайловский вступил в число сотрудников „Отечественных Записок“, у него было уже вполне сложившееся, законченное миросозерцание. При этом он обладал большими знаниями в области как общественных, так и естественных наук и сразу выступил с целым рядом серьезных научных работ. Правда, по форме своей социологические работы Михайловского — за немногими исключениями — носят характер критических статей, написанных *по поводу* тех или иных книг, русских или иностранных. В то же время изложение мыслей у Михайловского никогда и нигде не носит строго систематического характера, и на каждом шагу он отвлекается в сторону, делает большие отступления и т. д. Наоборот, его публицистические и критические статьи, носящие, напр., название „Литературных и журнальных заметок“, насыщены научно-социологическим содержанием, равно как и излюбленная Михайловским форма беспритязательной беседы с читателем, не подходящая ни под один вид литературы, как, напр., „Дневник читателя“, „Записки профана“, „Вперемежку“, „Литературные воспоминания и современная смута“ и т. п. Этот характер непринужденной беседы, где серьезный научный анализ чередуется с каким-нибудь злободневным фактом, газетной вырезкой или едким полемическим выпадом против какого-либо из современных ему писателей, делал в свое время писания Михайловского чрезвычайно увлекательными, придавал им все краски животрепещущей современности. Но теперь именно эти способности делают чтение его сочинений подчас утомительным и отчасти объясняют тот факт, что Михайловский принадлежит к числу почти забытых писателей.

Впрочем, в самые первые годы своего сотрудничества в „Отечественных Записках“, в 1869—1871 гг. Михайловский, как бы торопясь поделиться с читателем всем продуманным и проработанным за последние несколько лет, дал ряд наиболее серьезных и цельных научных работ, которые сразу приобрели ему всерос-

сийскую известность, сразу выдвинули его на одно из первых мест среди передовых писателей и мыслителей России. Эти работы — „Что такое прогресс“, „Теория Дарвина и общественная наука“, „Аналогический метод в общественной науке“, „Философия истории Луи Блана“. Несколько позднее за этими статьями последовали такие работы из области социологии и общественной психологии, как „Герои и толпа“, „Вольница и подвижники“, „Борьба за индивидуальность“. Наконец в эти же первые годы Михайловский обнаружил столь свойственное ему умение поражать читателя парадоксальными, неожиданными сопоставлениями, уменье в явлениях, казалось бы, бесконечно далеких от занимавшего его предмета находить серьезное содержание и высказывать по их поводу глубокие мысли. Такова, напр., появившаяся в 1871 г. и нашумевшая в свое время статья — „Дарвинизм и оперетки Оффенбаха“, где и Дарвину и легкомысленным опереткам, вроде „Прекрасной Елены“ или „Орфея в аду“, приписывается одинаково революционная роль в деле разрушения старых, докапиталистических религиозных и политических верований и представлений.

Первые социологические и публицистические работы Михайловского настолько полно и всесторонне выразили основные черты его миросозерцания, что в своей дальнейшей литературной деятельности, при всей ее обширности и всем разнообразии, он, в сущности, лишь дополнял, уточнял и иллюстрировал новыми данными те основные положения, которые уже наметились в указанных выше статьях. С другой стороны, идейное богатство содержания работ Михайловского так велико, что нет никакой возможности в кратком очерке останавливаться отдельно хотя бы на более важных из этих работ. Поэтому, приступая к изложению основ миросозерцания Михайловского, мы будем иметь в виду *всю* его литературную деятельность в целом, так как, несмотря на ряд частных противоречий и на его позднейшую эволюцию от демократизма к либерализму, Михайловский в главном все же оставался себе верен всю жизнь, и это главное проявилось уже с самого начала его выступления на широкую литературную арену.

★

Прежде всего, в области *общефилософской*, в основном вопросе об отношении материи и духа, бытия и сознания, Михайловский отошел от материализма Чернышевского, который он считал устарелым, и стал на точку зрения *позитивизма*. Для материалиста мир, во-первых, насквозь материален. То, что мы называем „духом", „психикой", „психическими свойствами", есть лишь одна из форм существования материи, а именно свойство организованной материи внутренно себя ощущать. Мир, или природа, для материалиста существует сам по себе, *до* появления какой бы то ни было „духовной" жизни и независимо от нее. Так называемая „духовная жизнь", достигающая у человека степени научного познания, есть лишь одно из приспособлений органической, живой материи к внешнему миру. Поэтому, следовательно, во-вторых, мир для современного материалиста *познаваем*, в нем нет ничего загадочного, недоступного для науки. Конечно, мир сам по себе не таков, каким мы его представляем; но под влиянием *практики*, опыта наши знания о мире все более исправляются, все более приближаются к действительности.

Позитивисты же считают, что сущность мира нам недоступна и никогда не будет доступна, что мы можем изучать лишь внешние его свойства, которые воспринимают наши органы чувств, или даже, как стали говорить впоследствии, мы знаем лишь наши ощущения, и вся наша наука может изучать только связь этих ощущений между собою. Что же лежит *за* нашими ощущениями и лежит ли там вообще что-либо, мы не знаем и никогда не узнаем.

И вот Михайловский, который, между прочим, находился под большим влиянием путаного германского социалиста, философа и экономиста *Дюринга* (которого в 70-х гг. жестоко высмеял друг и единомышленник Маркса, Фридрих Энгельс в своей известной книге „Анти-Дюринг") и также другого германского писателя — *Ланге*, автора книг „История и критика материализма" и „Рабочий вопрос", — Михайловский уже в самых первых своих статьях стал свысока относиться к материализму как к устарелой, отжившей философии, как к „метафизике", в пристрастии к которой он упрекал впоследствии и русских марксистов.

„В то время,—писал Михайловский в 1869 г. в статье „Что такое прогресс“, —как мы еще делимся на материалистов и спиритуалистов[1], передовая западная мысль в лице Канта, Спенсера и проч. отрицает и ту и другую систему. В то время как в нашем обществе то и дело раздаются упреки передовым людям в атеизме, позитивизм называет атеистов „самыми нелогическими теологами“ (богословами). По мнению Михайловского, „человек может познавать только явления и те постоянные отношения, в которые они становятся друг к другу. Сущность вещей—вечная тьма“.—„Может быть, величайшая заслуга позитивизма состоит именно в указании человеку границ, за которыми лежит для него вечная непреодолимая тьма. Стараться проникнуть за эти границы значит иметь недостижимые и незаконные желания“, которые даже „составляют грех перед человечеством“.

В ответ на эти попытки ограничить человеческий разум, создать какую-то недоступную для него „вещь в себе“, уже Энгельс указал, что с тер пор, как мы научились в наших лабораториях и фабриках разлагать и соединять элементы материи, загадочная „вещь с себе“ потеряла свою загадочность и стала „вещью для нас“. Мы знаем химический состав, вес и плотность далеких небесных тел, равно как и внутреннее строение мельчайших атамов вещества, недоступных никаким чувствам и ощущениям. Мы предсказываем явления на сотни и тысячи лет вперед (солнечные затмения) и открываем, путем научных рассуждений и вычислений, новые для нас планеты или неизвестные нам раньше виды материи. Ясно, что наш ум идет при этом за пределы видимых нами явлений, что он пытается постигнуть и то, что скрыто от наших органов чувств, постигнуть мир, как он есть в действительности. В этом отношении то, что Михайловскому (как впоследствии и всей современной буржуазной философии) казалось *шагом вперед* по сравнению с философским материализмом, на самом деле было *шагом назад*. Материализм Чернышевского, ученика Фейербаха, нуждался

[1] Т. е. сторонников того взгляда, что сущностью *видимого*, кажущегося материального мира является *дух*. *Б. Г.*

лишь в усовершенствовании, и это усовершенствование достигнуто современным научным, диалектическим материализмом, т. е. марксизмом [1].

Любил Михайловский посмеяться и над тем, что он называл „диалектикой Гегеля" и сторонником чего также был его учитель Чернышевский. Но Михайловский под диалектикой разумел только так называемую гегелевскую „триаду", т. е. трехчленную формулу, согласно которой каждое явление в своем развитии непременно проходит три ступени: положение (тезис), отрицание этого положения, „противоположение" (антитезис) и „отрицание отрицания", соединение противоположностей (синтез), когда явление как бы возвращается к первой ступени, но на высшей, расширенной основе. Мы еще увидим, что в своей борьбе против марксистов Михайловский неизменно выдвигал „триаду" как якобы главную философскую опору марксистской „веры" в грядущее торжество социализма.

На самом деле, конечно, отнюдь не в триаде смысл и сущность диалектики и *диалектического метода* познания. Триада скорее—лишь архитектурное украшение, иллюстрация, которой в некоторых случаях пользовался Маркс и которую марксисты никогда не выдвигают в качестве аргумента, доказательства. Сущность диалектики состоит в том, что все явления, во-первых, теснейшим образом переплетены между собой и находятся в процессе непрерывного движения и изменения, и что поэтому не следует изучать какое-либо явление в изолированном и как бы застывшем виде, а только в процессе его развития и в связи со всей окружающей средой. Поэтому также „отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна" — это основное положение

---

[1] Вот в каких выражениях высказал эту мысль Ленин в 1914 г., в статье по поводу десятилетней годовщины смерти Михайловского: „В философии Михайловский сделал *шаг назад* от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х гг. XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные „позитивисты" (кантианцы, махисты и т. п.) А Михайловский плелся именно за такими позитивистами. И до сих пор среди учеников Михайловского, даже самых „левых" народников (вроде г. Чернова), царят эти реакционные философские взгляды" (Собр. соч., 3 изд., т. XVII, стр. 224).

диалектики. Далее, этот процесс развития происходит в обстановке непрерывной борьбы противоречий и противоположностей. В каждом развивающемся явлении имеется зародыш его отмирания, его будущей гибели и замены его новым. Наконец, в эволюции всего существующего бывают такие моменты, такие узловые точки, когда происходит разрыв постепенности, скачок, когда медленно накопляющиеся *количественные* изменения переходят в изменения *формы, качества*. Эти скачки, эти революции наблюдаются и в природе, мертвой и живой, и в истории человечества.

И любопытно, что, отрицая диалектику как устарелую гегелевскую выдумку, Михайловский бессознательно очень часто сам *пытался применять диалектический метод* в анализе тех или других биологических и социологических явлений, а в своей теории „героев и толпы“, как мы увидим, дал даже новую блестящую иллюстрацию диалектического *„перехода количества в качество“*.

Вообще же, общефилософские вопросы далеко не были самой сильной стороной литературной деятельности Михайловского. Эта область меньше всего его занимала, и в ней он ничего почти нового и оригинального не сказал.

Центральной осью всего миросозерцания Михайловского была *связь социологии с биологией*, попытка построить теорию общественного прогресса и обосновать идеал социализма, исходя из данных биологии, из законов развития органического мира. На эту идею, как мы знаем, еще в середине 60-х гг. натолкнул Михайловского его молодой „учитель-друг“, как он сам его называл, безвременно погибший Ножин. Ей посвятил Михайловский свои важнейшие научные работы, вокруг нее он высказал больше всего остроумных и оригинальных мыслей, обнаружив при этом огромную эрудицию. Этой идее он оставался верен всю жизнь и ее же он старался связать со своей публицистической деятельностью. Поэтому и нам придется довольно подробно остановиться на этой идее и всех вопросах, с ней связанных и из нее вытекающих.

Вопрос о связи биологии с социологией давно занимал европейских буржуазных мыслителей, но разре-

шался ими в смысле, прямо противоположном основной идее Михайловского. Поэтому Михайловский развивал эту идею *в борьбе* с этими мыслителями, главным образом, с знаменитым английским философом и социологом *Спенсером* и *дарвинистами*, применявшими теорию Дарвина к вопросам общественной жизни.

Спенсер установил, что единым всеобщим законом развития, относящимся как к миру неорганическому, так и к человеку и человеческому обществу, является процесс *диференциации*, расчленения, переход от простого и однородного к разнородному и сложному. При этом он особенно подробно и научно пытался обосновать так называемую *органическую теорию общества*, согласно которой общество подобно организму: из простого и однородного состояния, где все части равны между собой и исполняют одинаковые функции, оно постепенно развивается в сложный аппарат, с разделением труда между органами, роль головного мозга играют органы управления, роль рук и ног — трудящееся население. А так как сложное и расчлененное общество есть прогресс по сравнению с простыми и однородными, то деление общества на управляющих и управляемых и исполнение каждой частью общества какой-либо детальной функции есть *закон природы*, против которого напрасно борются социалисты.

Таким же законом природы, как известно, считал великий английский ученый Дарвин *борьбу за существование*. Эта борьба происходит во всем органическом мире, и в результате ее происходит „*естественный отбор*“, выживают и оставляют потомство те особи и те виды растений и животных, которые почему-либо оказались более приспособленными, т. е. лучше организованными в этой борьбе за существование; наоборот, менее приспособленные, у которых имеются какие-либо вредные для них особенности, погибают в борьбе и не успевают передать эти особенности по наследству своему потомству. Этим естественным отбором, по мнению Дарвина, и объясняется все разнообразие видов растений и животных, равно как и целесообразность их организации.

Буржуазные последователи Дарвина применили его учение и в области социологии: та борьба, которая

ведется в обществе, свободная конкуренция и т. п., все это лишь частные случаи всеобщего закона борьбы за существование. И подобно тому как эта борьба ведет к прогрессу мира органического, она является фактором прогресса и в развитии общества: в результате борьбы выживают лучшие, сильнейшие, способнейшие; погибают слабые и неприспособленные, и все общество от этого выигрывает, становится качественно выше и лучше.

Против обоих этих положений, против спенсеровской органической теории общества и против дарвинизма в социологии и обрушился Михайловский со всей силой своего таланта, особенно способного к *критическому анализу*, со всем запасом своих знаний, со всей страстностью своих убеждений, посвятив этой критике и обоснованию своих собственных взглядов, быть может, лучшие из своих теоретических работ.

Против органической теории Михайловский выдвинул целый ряд убийственных соображений, доказывающих всю поверхностность и ненаучность аналогии (сравнения, уподобления) общества с организмом. При этом он установил, что к таким теориям всегда прибегают те, кто хочет якобы научными доводами оправдать и увековечить существующее неравенство и эксплоатацию.

„Из того, что в обществе существует нечто поверхностно аналогичное, на мой взгляд, рукам, ногам и проч., я заключаю, что это так и должно быть. Известные исторические формы объявляются формами разумными, удовлетворяющими требованиям нравственности, или, вернее, требования нравственности пригибаются до фактического содержания жизни данной минуты; то, что есть, имеет право быть, общественный организм растет подобно всякому другому организму, и нет смысла подходить к нему с нравственной критикой... Вот и весь секрет органической теории“.

Но, с другой стороны, Михайловский целиком воспринял закон развития путем расчленения и перехода от простого к сложному и показал, что именно этот закон лучше всего побивает органическую теорию. В самом деле, согласно этой теории мельчайшее разделение труда внутри общества, при котором отдельные индивидуумы обречены всю жизнь играть роль какого-

нибудь винтика или „пальца от ноги", это разделение труда является якобы прогрессивным. Но известно, насколько такое разделение труда уродует человеческий организм, уродует физически, умственно и нравственно, что Михайловский, между прочим, доказывает яркими примерами, заимствованными из „Капитала" Маркса. Следовательно, разделение труда в обществе, при котором его члены всю жизнь исполняют одну какую-либо функцию, не дает возможности развиться всем заложенным в человеке способностям и противоречит общему закону развития органического мира, все большему *расчленению функций организма,* все большему разделению труда между органами одного и того же индивидуума.

Далее, против дарвинистов в социологии Михайловский прежде всего выступил с указанием, что дарвиновское „выживание наиболее приспособленных" далеко не всегда означает прогресс организмов в вышеуказанном смысле слова, что выживают нередко худшие, более слабые, которые могут довольствоваться менее благоприятными условиями существования; что, в частности, в человеческом обществе борьба носит совсем другие формы и другой характер, чем в мире растений и животных, так как у людей побеждает не физическая сила или ловкость, напр., не способности, а богатство, а если способности, то сплошь и рядом худшие: бесцеремонность, пронырливость и т. п. С другой стороны, у общественных животных (что, впрочем, хорошо было известно и самому Дарвину), к которым принадлежит и человек, вместо внутренней борьбы, вырабатывается другое могущественное оружие для отражения внешних опасностей: *солидарность и сотрудничество*, то, что Михайловский назвал „кооперацией", и эта кооперация является полной противоположностью „войне всех против всех", которую прославляет буржуазная либеральная наука и которую она выдает за фактор прогресса. То, что буржуазные ученые считают „законом природы", а именно определенные формы борьбы и эксплоатации в человеческом обществе, есть лишь результат исторического развития, *который может быть нами изменен.*

Десять лет спустя после своих первых социологических работ, в „Записках современника" 1881—1882 гг.,

возвращаясь к этой мысли, Михайловский привел цитату из Дарвина, где тот восхищается „дикой, инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодых маток, своих дочерей, тотчас по их рождении или погибающей в борьбе с ними, ибо это, несомненно, полезно обществу“, и заметил при этом: „здесь сказалась уже совершенно специальная, особенная слабость воображения Дарвина... Он не мог напрячь воображение настолько, чтобы допустить возможность такой пустяковой реформы пчелиного общества, как устранение периодических убийств! Он, так много и ловко орудовавший принципом пользы, не заметил, что злоба пчелы-матки полезна совсем не пчелам и даже не пчелиному обществу, а только нынешней форме этого общества, ибо ее-то неизменности она, конечно, способствует!“

В этой цитате ярко сказались особенности общественных взглядов Михайловского; но наиболее ярко проявились они в знаменитой „формуле прогресса“, которой заканчивается его статья „Что такое прогресс?“ Исходя из признанного самим Спенсером закона, что прогрессивное развитие организмов идет путем все большего разделения труда между их органами, все большей полноты и разносторонности их функций, и доказав, что разделение труда между людьми делает их узкими специалистами, Михайловский пришел к следующему выводу: „Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов“.

Таким образом, задачей общественной науки, по мнению Михайловского, является не только изучение действительного развития общества, но и установление *идеала*, не только анализ того, что есть, и предвидение будущего на основании законов прошлого и настоящего, но и указание того, что *должно быть*, должно быть с точки зрения нравственности, разумности, целесообразности.

В этом и заключается *„субъективный метод“* Михайловского,—метод, который сам он определял по-разному, но который, в конце-концов, сводится к тому, что социолог должен подходить к общественным явлениям не только с точки зрения их *объективного*, действительного развития, не только для изучения причинных связей между ними, но и с *нравственной* оценкой, с точки зрения идеала, и для воздействия на них с целью приближения к этому идеалу. Поэтому он отрицал возможность изучать общественные науки так же спокойно и объективно, как науки естественные, и противоставлял свой откровенный субъективизм мнимому объективизму, бесстрастию буржуазных ученых, которые под этим кажущимся объективизмом, этой мнимой научностью лишь скрывают оправдание существующего зла. Михайловский хотел объединить в изучении общества две „правды“: „правду-истину“ и „правду-справедливость“, т. е. слить в одном методе и познание того, что есть, и стремление к идеалу. А для того, чтобы доказать научность самого идеала, он выводил его не из *общественных* отношений (как это делает марксизм, доказывая, что развитие капитализма неизбежно приводит к замене его социализмом, а идеал социализма неизбежно появляется в определенные эпохи у определенных общественных групп), а из *закона развития органического мира*, и в этом именно и видел связь социологии с биологией.

„Существенная задача социологии,—писал Михайловский,—состоит в выяснении общественных условий, при которых та или другая потребность человеческой природы получает удовлетворение“. Думать, что ссылкой на правильно понятые интересы человеческой „природы“ можно научно, „социологически“ обосновать определенный общественный идеал, напр., идеал социализма,—значит возвращаться к точке зрения социалистов-утопистов начала XIX в., напр., Фурье, которые именно „природу человека“ и выдвигали как критерий для своих социальных фантазий и утопий.

С точки зрения своего идеала прогресса Михайловский рассматривал разные формы общественного сотрудничества или кооперации. Не отрицая вполне *технического* разделения труда, при котором участники процесса

производства исполняют разные, частичные функции в данном процессе труда, он решительно отвергал *общественное* разделение труда, или „сложное сотрудничество“, при котором разные части общества находятся в неравном положении и зависят друг от друга (напр., одни командуют, другие исполняют; одни являются только земледельцами, другие—только ремесленниками и т. п.) Взамен этого он выдвигал „простое сотрудничество“, т. е. „сочетание труда равных людей, преследующих одну и ту уже цель“.

Так он, очевидно, понимал социалистический строй и только при „простом сотрудничестве“ он находил условия для наиболее полного и всестороннего развития человеческой личности или, говоря его словами, для наибольшего разделения труда между органами и наименьшего разделения—между людьми.

Вся история человечества, думал Михайловский, есть именно смена разных форм кооперации. При одних формах личность получала больший простор для своего развития и общественное неравенство сглаживалось, при других, наоборот, общественные условия приводили к порабощению личности, замыкали ее в узкий круг потребностей и форм деятельности. Примером наибольшего уродования и порабощения личности считает Михайловский деление общества на строго замкнутые *касты* в Индии, смягченную форму которых составляли сословия и цехи в средневековой Европе. В качестве примера наибольшей разносторонности личности и наибольшего равенства между членами общества он приводит *Запорожскую сечь* с ее полукоммунистическим устройством.

Борьба личности с порабощающим ее обществом, борьба за раскрепощение личности от общественных перегородок, за полное и всестороннее развитие ее функций и потребностей, словом, *„борьба за индивидуальность“*, как назвал одну из своих статей Михайловский, и составляет, по его мнению, основное содержание истории. И только то общество, которое будет создано согласно его идеалу прогресса, т. е. в котором не будет разделения труда между людьми, уничтожит эту борьбу личности и общества, создаст гармонию между ними.

Критический разбор социологических теорий Михайловского, равно как указание на их общественные и идейные корни, мы дадим позднее; теперь же укажем лишь, что одновременно с субъективными и утопическими элементами своего учения Михайловский в своих первых социологических работах дал целый ряд остроумных, хотя вскользь брошенных мыслей и гипотез, в которых нередко сближался с марксистским пониманием истории. Так, он понимал, что *центром тяжести истории* являются „отношения общественные“, и уже из этого центра идут „радиусы к системе верований и понятий“. Самая смена форм кооперации в переводе на марксистский язык означает смену форм „производственных отношений“, и в их основе, как писал Михайловский позднее в „Литературных заметках“ 1879 г., лежит „все та же Magenfrage, все тот же вопрос желудка, который всегда составляет основную интимную пружину истории“.

Правда, в резком противоречии с только что приведенной цитатой стоит столь характерный для всего позднейшего Михайловского протест против *монистического* объяснения истории, т. е. объяснения ее с точки зрения одного какого-либо принципа, одной движущей силы,—протест, который мы встречаем уже в первой его большой статье „Что такое прогресс?“: „Если мы ухватимся за один какой-нибудь социальный элемент, почему-либо бросившийся нам в глаза, и по движению этой части будем судить о развитии целого, то вся история естественно окрасится для нас односторонним и ложным светом“. В этом, с самых первых шагов деятельности Михайловского в области философии истории, как и философии вообще, сказывается свойственный ему *эклектизм*, т. е. смешение разных принципов и методов познания, разных точек зрения. Его сила была не в таких всеобъемлющих философских обобщениях, а в тонком и метком критическом анализе *чужих* обобщений, также в отдельных, частных научных гипотезах.

В этом отношении большую научную ценность представляют многие его критические замечания к теории Дарвина, которую он в общем и целом принимал, но дополнял соображениями о *бессознательном приспособлении* организма к среде, причем такие приспособления впоследствии подхватываются и закрепляются

естественным отбором. Такова, напр., окраска некоторых насекомых, как бы „подражающих“ окраске листьев или цветов, где они укрываются от высматривающих их птиц. Для доказательства возможности сознательного или бессознательного психического воздействия на физические свойства организма (не исключая и человека) Михайловский привел огромный естественно-научный и исторический материал. Этот материал дан в его замечательных статьях „Герои и толпа“, где исследуются законы *психической заразы* и *социального гипнотизма* и изучается та таинственная связь, которая образуется между вожаками народных движений и самими массами.

Но все эти исследования, имеющие самостоятельное научное значение, находятся как бы в стороне от главной, центральной идеи всей жизни Михайловского, идеи борьбы за такой общественный строй, в котором осуществилась бы его формула прогресса.

С этой именно идеей, применяя ее к русской общественной жизни того времени, выступил Михайловский для обоснования *народнического социализма 70-х гг.*

IV

Михайловский и революционные течения 70-х годов

То, что принято называть революционным народничеством 70-х годов, не представляло собою чего-либо цельного и однородного и притом довольно сильно видоизменялось в течение десятилетия. Движение нашей интеллигентной молодежи, в рядах которой было не мало выходцев из дворянских семей, началось, как известно, массовым „хождением в народ“. Молодые люди обоего пола бросали учение, бросали обычную обстановку комфорта и, переодевшись в крестьянское или мещанское платье, нередко выучившись предварительно какому-либо ремеслу, направлялись в деревню, к крестьянам, с довольно туманными и неопределенными целями: то с пропагандой социализма, то для того чтобы физическим трудом и страданиями наравне с мужиками „отдать долг народу“, искупить перед ним

вину своих помещичьих предков, эксплоатировавших этот народ и тиранствовавших над ним.

Причиной этого явления было то разочарование, которое охватило лучшую часть нашей молодежи в реформах Александра II. Эти реформы оставили крестьянина жертвой экономической эксплоатации помещика и сельского кулака, разоряли его и гнали в город, где он закабалялся фабриканту. Наш капитализм, принимавший нередко наиболее отталкивающие и паразитические формы, не мог привлекать к себе симпатии передовой молодежи, тем более, что в Европе он уже становился явно реакционным. Та самая либеральная буржуазия, которая некогда провозгласила лозунги „свободы, равенства и братства", потопила в крови весной 1871 г. первую попытку пролетарской революции, известную под названием „Парижской Коммуны". Европейские формы политической жизни, с их конституциями, парламентами и даже республиками, как-будто ничего не давали широким трудовым массам. Поэтому наша революционная молодежь не могла увлекаться буржуазно-либеральным и буржуазно-демократическим движением Западной Европы и прониклась определенными *антибуржуазными* настроениям, которые питались еще тем, что крестьянская реформа разорила и часть дворянства. При этом она легко поддавалась *анархическому отрицанию* государства и борьбы за политические реформы, отражая этим тот инстинктивный анархизм, каким отличается масса крестьянства, которая страдает и от государства с его налогами и рекрутчиной, и от покровительствуемого им капитала. Но этот крестьянский анархизм выражался, главным образом, в ненависти к чиновникам и соединялся с верой в царя как защитника крестьянских интересов, которому мешают в его благих намерениях помещики и чиновники[1].

Поводом к оживлению того революционно-народнического движения, которое, в гораздо меньших размерах, началось уже в 60-х г. но затем, под влиянием

---

[1] Впрочем, увлекаясь утопическим крестьянским социализмом полуанархического типа, наше народничество *объективно* отражало ту борьбу, которую вело крестьянство с крепостническим, самодержавным государством—борьбу, которая расчищала путь развитию капитализма.

правительственной реакции, заглохло, поводом к нему послужил целый ряд событий. Студенческие волнения 1869—1870 гг. вызвали новые правительственные репрессии и создали почву для агитации знаменитого революционера *Нечаева*, который, под влиянием Бакунина, проповедывал всеобщую разрушительную революцию. А судебный процесс его сторонников и сообщников, так называемых „нечаевцев", который происходил при открытых дверях, так как правительство надеялось им отпугнуть молодежь от революционных идей,—привел к обратным результатам. Речи подсудимых печатались в газетах, и молодежь впервые слышала открытую проповедь революционно-социалистических идей. Затем в 1870 г. появилась книга знаменитого впоследствии народнического социалиста *Лаврова* „Исторические письма", в которой он указывал, какой страшной ценой народного труда и крови достигается прогресс цивилизации, звал всех „критически-мыслящих личностей" своим трудом на пользу народа искупить свою вину перед ним за эту „цену прогресса" и уверял их, что именно они, критически-мыслящие личности, двигали до сих пор и двигают историю. Наконец в 1873 г. появилась книга основателя и вождя европейского революционного анархизма, *Бакунина* „Государственность и анархия", где выставлялся лозунг всероссийской революции с целью установления безгосударственного, мужицкого, общинного социализма. Все это возбуждало пылкую молодежь и звало ее на подвиг.

После первого, бессистемного порыва „хождения в народ", окончившегося массовыми арестами по всей России, началось программное деление и оформление революционной молодежи. Большинство стало бакунистами; они верили в инстинктивный социализм русского крестьянина и надеялись непрерывными частичными бунтами подготовить всероссийское восстание, которое установит в России общинный социализм. Другие пошли за Лавровым, который учил, что для социалистической революции нужна полная сознательность ее участников. Поэтому он звал молодежь к науке, к работе над собой, а затем к длительной и систематической пропаганде социализма в народе. Лавристы были в незначительном меньшинстве, так как нетерпеливую

молодежь отталкивала перспектива длительной и постепенной идейной подготовки революции. Она рвалась к немедленному *делу*, и ей больше улыбался призыв Бакунина бросать науку и итти в народ, чтоб поднять его на восстание. Наконец с середины 70-х гг. к этим двум течениям присоединилось третье, наименее влиятельное, „набатовцев", сторонников Ткачева (он издавал за границей журнал „Набат"), который не верил в народное восстание, но звал интеллигенцию к *захвату власти*, к образованию *революционной диктатуры*, к проведению при ее помощи социалистических реформ.

Но, при всех разногласиях этих течений, их объединяла вера в то, что Россия *минует капиталистическую фазу развития* и, в отличие от Западной Европы, с ее пролетариатом и обманом буржуазных политических свобод, сразу перейдет путем революции к высшим, социалистическим формам жизни.

И вот Михайловский, не примыкая целиком ни к одному из тогдашних революционных течений, явился выразителем и теоретиком того *общего*, что их объединяло. Хотя он впоследствии не раз отказывался от приписываемого ему ярлыка „народника", но именно он явился наиболее талантливым и плодовитым *социологом* и *публицистом* народничества, который встречал тем больший отклик, что писал легально, на понятном читателю „эзоповском" языке, который мог обмануть цензуру, но с полуслова подхватывался сочувствующим читателем.

В своей статье „Что такое прогресс", которая появилась как раз на рубеже 70-х гг., Михайловский дал мнимо-научное обоснование народническому идеалу мужицкого социализма, в котором не будет разделения труда между людьми, но зато наибольшее разделение труда между органами, т. е. наибольшая полнота жизни. При этом в своих дальнейших статьях Михайловский отнюдь не идеализировал *теперешней*, темной крестьянской жизни. Он видел в ней лишь *зародыши* будущего социалистического развития. С целью пояснить и доказать свою мысль, он создал теорию *типов и степеней развития. Тип* развития, в смысле приближения к идеалу прогресса, может быть высок, но *степень* этого развития низкая, и наоборот. Напр., говорил он, совре-

менное капиталистическое общество по *степени* своего развития, по своей технике, богатству, уровню культуры несомненно, бесконечно выше русской крестьянской общины; но *тип* этого развития, при котором мы видим чудовищное разделение труда между людьми и, следовательно, чудовищное неравенство,—гораздо ниже того типа, который представляет собою крестьянская община, так как дальше отстоит от идеала прогресса. Поэтому, если мы возьмем общественную форму низкой степени развития, но с высоким типом, как ту же русскую общину, с однородностью и равенством ее членов между собой и одновременно с необычайной разносторонностью их занятий, то стоит *поднять* эту форму при помощи образования, усовершенствованной техники и т. п. на *высшую степень*, и мы вполне приблизимся к идеалу прогресса.

При этом Михайловский иногда совершенно не считался с естественными законами развития самого общества и смотрел на него как на простой материал, который можно изменять в любом направлении, согласно „идеалам" субъективной социологии. „Задача наша не в том,—писал он, например,—чтобы вырастить непременно „самобытную" цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию со всеми раздирающими ее противоречиями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будет или чужое, это уже вопрос не принципа, а практического удобства. Повидимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чем".

Приводя эту цитату, Ленин, в своей знаменитой работе „Что такое друзья народа и как они воюют против социалдемократов", написанной еще в 1894 г., восклицал иронически: „И в самом деле, как это просто! Хорошее „брать" отовсюду—и дело в шляпе! От средневековых форм „взять" принадлежность средств производства работнику, а от новых (т. е. капиталистических) форм „взять" свободу, равенство, просвещение, культуру. И разговаривать не о чем! Субъективный метод в социологии тут весь как на ладони: социология начинает с утопии—принадлежность земли работнику—и указывает условия осуществления желательного:

„взять“ хорошее оттуда-то да еще оттуда. Философ этот чисто метафизически смотрит на общественные отношения как на простой механический аггрегат тех или других институтов, простое механическое сцепление тех или других явлений. Он вырывает одно из таких явлений — принадлежность земли земледельцу в средневековых формах — и думает, что его можно точно так же пересадить во всякие другие формы, как кирпич переложить из одного здания в другое“ (том I, 3-е изд., стр. 104—105).

В своем отношении к европейской цивилизации Михайловский нередко напоминал Фурье и даже знаменитого французского философа-народника XVIII в., Руссо, который считал, что цивилизация разрушила то хорошее, что было в „естественном“ состоянии первобытного человека и дикаря. Михайловский говорил, что он готов проклясть эту цивилизацию, если она основана на порабощении народных масс. В статье „Теория Дарвина и общественная наука“ Михайловский для лучшего пояснения своих взглядов даже брал Руссо под свою защиту. По его мнению, „Руссо желает собственно возвращения не к первобытной жизни, а только, так сказать, к ее пропорциям[1], причем требуется не отречение от науки, технических открытий и усовершенствований, нравственных идей, приобретенных цивилизацией, а только известное их направление. Преследуя науку, Руссо не отрицал ее самое, а только требовал, чтобы она исполняла свою службу человечеству, как служат дикарю его скудные знания“.

Поэтому Михайловский считал огромным преимуществом России по сравнению с Западной Европой тот факт, что в ней нет пролетариата, что громадное большинство ее населения—крестьяне, владеющие орудиями труда. Из этого он выводил также консервативный характер русского социализма, возможность осуществить его без глубокой социальной революции. „Рабочий вопрос в Европе,—писал он в 1873 г.,—есть вопрос революционный, ибо там он требует *передачи* условий труда в руки работника, экспроприации тепе-

---

[1] Т. е. к тем отношениям однородности и равенства, какие были у первобытных людей. *Б. Г.*

решних собственников. Наоборот, рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только *сохранение* условий труда в руках работника, гарантия теперешним собственникам их собственности". Тогда же, по поводу нечаевского процесса, он выразил ту же мысль еще ярче. „Если бы социалистические учения у нас не инсинуировались без толку (т. е. не подвергались бы клеветам. *Б. Г.*) и русское общество, и в особенности русская молодежь, имели возможность понимать и здраво обсуждать их, то Нечаев, как представитель международного общества рабочих, собрал бы очень небольшую жатву. Русская молодежь могла бы ответить на все его искушения: „я могу сочувствовать или не сочувствовать международному обществу рабочих в Европе (т. е. I Интернационалу. *Б. Г.*), но в России ему *делать нечего*. Революционный в Европе, социализм в России консервативен".

Наконец, желая во что бы то ни стало сохранить для России „высший тип" ее развития, т. е. натуральное крестьянское хозяйство, которое облегчает переход ее к „высшей степени" этого типа, к социализму, Михайловский больше всего боялся развития в России, капитализма который должен был „разлучить" мелкого собственника с его собственностью, сделать его пролетарием. С этой целью Михайловский, подобно другим народникам, боролся в первой половине 70-х гг. против увлечения либерализмом, политической свободой, парламентаризмом, так как боялся, что все это, как было в Европе, принесет с собой развитие буржуазных порядков и тем отодвинет нас назад от идеала прогресса. „Откровенно говоря, я не так боюсь реакции, как революции",—выразился он в 1873 г., находясь за границей, в письме к Лаврову. Это значило, что политическая реакция, господство самодержавия не так опасны для развития крестьянского хозяйства, с его „высшим типом", как политическая революция, введение конституционного режима, с характерной для него властью буржуазии, торжеством капитализма и неизбежной экспроприацией крестьянства.

Вместе с другими народниками первой половины 70-х гг. разделял Михайловский в это время и идею „долга народу" и посвятил ей ряд наиболее красно-

речивых и прочувствованных строк. Это именно он пустил в оборот термин „*кающийся дворянин*“, который стал почти таким же популярным в литературе, как тургеневское словечко „нигилист“. „Чувство *личной* ответственности за свое *общественное* положение есть тема новая и почти нетронутая“,—писал Михайловский в известных уже нам очерках „Вперемежку“, где он и вывел тип „кающегося дворянина“. В другом месте, в „Литературных и журнальных заметках в 1873 г.“, в полемике с Достоевским, Михайловский соединил эту идею „долга интеллигенции народу“ с отрицанием для нее политических прав и свобод. „Мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но, принимая эту роль цветка из прошедшего, как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем... Мы пришли к мысли, что мы—должники народа. Может быть, такого параграфа и нет в народной правде, даже наверное нет, но мы его ставим во главу угла нашей жизни и деятельности, хоть, может быть, не всегда сознательно. Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем“. И дальше: „Для человека, вкусившего плоды общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова, устного и печатного, свободы обмена мыслей (политических сходок) и пр. Но если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для нас роль яркого и ароматного цветка,—мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их!“

Ибо, поясняет дальше Михайловский, все так называемые блага цивилизации имеют свою обратную сторону, могут из блага становиться злом. Даже наука, если она служит господствующим классам, только укрепляет их господство. Свобода в свое время уни-

чтожила власть над обществом феодального дворянства и духовенства, но в новом, буржуазном обществе эта самая свобода усилила власть капитала и предоставила рабочим „свободно“ умирать с голоду. Поэтому, „отдавая социальной реформе предпочтение перед политической, мы отказываемся только от усиления наших прав и развития нашей свободы, как орудий гнета народа и дальнейшего греха“.

Как же относился Михайловский к революционным течениям и организациям 70-х гг. и принимал ли он непосредственное участие в революционном движении?

Уже из вышеприведенной характеристики его взглядов первой половины 70-х гг. видно, что, являясь теоретическим истолкователем общих всем течениям принципов народничества, Михайловский не удовлетворялся ни одной из революционных программ того времени и сам не удовлетворял ни одного из течений. В самом деле, в то время как бакунисты надеялись на грандиозное народное восстание вроде всероссийской разиновщины, которое разрушит самое государство, Михайловский, как мы знаем, доказывал консервативный характер русского социализма, не требующий для своего осуществления революции, и, кроме того, думал, что „цель эта (т. е. „сохранение условий труда в руках работника“) *не может быть достигнута без широкого государственного вмешательства, первым актом которого должно быть законодательное закрепление общины*“. Далее, в отличие от правоверных народников, Михайловский не закрывал глаз на возможность развития в России капитализма по европейскому образцу и звал лишь бороться с этой опасностью. Наконец, он не доверял стихийным народным революциям и, борясь с преклонением перед стихийностью у бакунистов, он противопоставлял „мнениям“ народа его „интересы“ и, следовательно, стоял за помощь этому народу „сверху“.

Не удовлетворяли Михайловского и лавристы. Будучи за границей в 1873 г., Михайловский получил от Лаврова приглашение принять участие в проектированном им журнале „Вперед“. Михайловский решительно отказался, предпочитая в легальной литературе воздействовать на общественное мнение передовой

интеллигенции. „Я не революционер, — писал он Лаврову: — „всякому свое“. Пренебрежительно относился Михайловский и к Ткачеву.

И только с одной организацией Михайловский действительно сблизился: *этой организацией была „Народная Воля“.*

Как известно, в конце 70-х гг. значительная часть народников-бунтарей разочаровалась в близости широкого крестьянского восстания. С другой стороны, жестокие преследования, которым правительство подвергало революционеров, издевательства в тюрьмах, казни, ссылка без суда,—все это вызывало к ним сочувствие в среде либерального „общества“, с которым многие революционеры были связаны даже родственными отношениями. Это постепенно подготовило психологический сдвиг у многих революционеров в сторону *политической борьбы с правительством* — борьбы за политическую свободу, которая создаст в будущем возможность легальной пропаганды социализма и в которой уже теперь революционеры найдут союзников в лице либералов. Таким образом, часть революционной интеллигенции, после кратковременного увлечения анархическими идеями Бакунина, пришла к необходимости изменения политического строя России, т. е. к той мысли, которую раньше все народники, с Михайловским во главе, так решительно отвергали.

Единственной формой борьбы с правительством для тайной, заговорщицкой организации, не опиравшейся ни на какое широкое общественное движение, был *террор*. Террористическую тактику, в виде покушений на царя, и избрала возникшая в 1879 г. новая революционная организация „Народная Воля“. Если при этом часть народовольцев, заимствовав идеи Ткачева, надеялась после цареубийства захватить власть, создать революционное правительство и рядом коренных социальных реформ вызвать сочувствие и поддержку народных масс, то главное ядро организации, ее Исполнительный комитет, особенно его вождь Желябов, повидимому, рассчитывали только систематическим террором добиться от правительства уступок, заставить его дать конституцию, созвать Учредительное собрание или хотя бы Земский собор.

К этой второй части и примкнул Михайловский.

В 1880 г., в одной из статей, вспоминая свои настроения первой половины 70-х гг., Михайловский писал о том, как он надеялся осуществить в России свой идеал прогресса: „Благонамеренные представители центральной власти и народ, в нашем предположении, должны были положить почин новому, особливому историческому пути для России. Но если между этими элементами протискивается *братский союз местного кулака с местным администратором,* то наша теоретическая возможность обращается в простую иллюзию“.

Итак, „благие намерения“ „центральной власти“ парализуются тем „средостением“, как говорили славянофилы, которое образуется из местных кулаков и администраторов. Для борьбы с этим злом нужна политическая свобода. „Вторжение Европы банковской и железнодорожной налицо, — писал Михайловский в том же 1880 г. — Пусть же придет Европа политическая и научная!“

Если один момент, в начале 70-х гг., в эпоху наибольшего увлечения народническими настроениями, Михайловский мечтал даже о полном „растворении“ в безыменной народной массе, но при непременном условии сохранения своего интеллигентского „светоча“, то теперь именно на интеллигенцию должна была выпасть почетная задача предохранить „народные начала“ от растлевающего влияния капитализма.

„Только тот политический порядок, — уговаривал Михайловский „центральную власть“,—окажется непоколебимым, который не шарлатански, как это не раз случалось в Европе, а искренно и честно заинтересует собою миллионы“. Поэтому „предоставьте русской интеллигенции свободу мысли и слова—и, может быть, русская буржуазия не съест русского народа; наложите на уста интеллигенции печать молчания — и народ будет наверное съеден“.

Не довольствуясь *уговариванием „центральной власти“*, видя, что „Васька слушает да ест“, Михайловский приходит к мысли о необходимости ее запугать, *террором заставить дать политическую свободу.* Еще в 1878 г., после выстрела Веры Засулич, Михай-

ловский написал нелегальный „Летучий листок“, где говорил, что если „общественные дела“ не будут переданы „в общественные руки“, то должен возникнуть тайный „Комитет общественной безопасности“. Вот терроризм и привлекал Михайловского в „Народной Воле“, причем он брал его только как средство добиться от правительства политических уступок. Кратковременная эпоха „послаблений“ в 1880 г. вызвала у него такой прилив оптимизма, что он уже писал: „Очевидно, во всяком случае, что правительство убедилось в неправильности того пути стеснения свободы мысли и слова, на который его увлекли люди, усердные не по разуму“.

Поэтому Михайловский с радостью принял предложение сотрудничать в нелегальном органе народовольцев, журнале „Народная Воля“. Он поместил в нем несколько статей, под общим заглавием „Политические письма социалиста“, а также статью, специально посвященную тогдашнему диктатору Лорис-Меликову, под названием „Лисий хвост и волчий рот“.

Само собою понятно, что он писал в „Народной Воле“ нелегально, что о его сотрудничестве знали лишь немногие посвященные. Но характерно, что свои „Политические письма социалиста“ Михайловский подписывал псевдонимом „Гроньяр“, что, в переводе с французского, означает „ворчун“, и этим как бы давал понять, что он не во всем согласен с программой и тактикой „Народной Воли“, что кое-что он критикует и здесь. В самом деле, скептические нотки слышались и в этих „письмах социалиста“. „Люди революции, — писал Михайловский, — рассчитывают на народное восстание. Это дело веры, я не имею ее... Всех перипетий будущей борьбы предвидеть нельзя“. Все надежды Михайловский возлагал теперь на *активность* самих революционеров, но эта активность должна была, по его мнению, не революцию вызвать, а лишь *воздействовать на правительство*. Одновременно он уговаривал „Народную Волю“ сблизиться с либералами: „Я думаю, что многие либералы гораздо к вам ближе, чем вам кажется. Они были бы еще ближе, если бы ясно понимали особенности русской жизни“, так как, — поясняет далее Михайловский, — „принцип принадлежности земли

земледельцу живет... в сознании каждого порядочного человека".

Итак, крестьянин, сохраняющий свою землю под опекой и при покровительстве интеллигенции, в том числе даже либеральной, — вот общественный идеал Михайловского в наиболее острый момент тогдашней русской и, как он думал, даже европейской истории. Не социальная революция и не захват власти революционной интеллигенцией, *а воздействие ее на правительство при помощи террора и в союзе с либералами*[1].

Как бы то ни было, но между Михайловским и многими членами таинственного в глазах правительства и общества Исполнительного комитета „Народной Воли" установились тесные и близкие отношения,—отношения взаимного доверия и уважения. Михайловский просматривал иногда рукописи для журнала „Народная Воля". С некоторыми нелегальными членами Исп. ком. он регулярно встречался на нейтральных квартирах, а иногда они заходили к нему. В оставшихся после смерти Михайловского записках он сам рассказывает, как однажды играл роль шафера на свадьбе виднейшего члена Исп. Ком. Льва Тихомирова (впоследствии перешедшего в лагерь самодержавия и недавно умершего). Тихомиров, конечно, как нелегальный и разыскиваемый полицией, венчался по подложным документам. А Михайловский, как он сам передает, для пущей важности взял даже напрокат фрак, которого у него никогда не было.

После убийства Александра II Тихомиров, по поручению оставшихся на свободе членов Исп. ком., написал известное „Письмо Исп. ком. Александру III", в котором „Народная Воля" выставляла ряд политических требований, при выполнении которых она готова была отказаться от революционной и террористической борьбы. И вот, после того как эта прокламация была обсуждена и принята, Тихомиров передал ее для окончательной редакции Михайловскому, и с его незначительными поправками Комитет согласился.

---

[1] В этих колебаниях между страхом перед либеральной конституцией и готовностью итти на союз с либералами выражается, как неоднократно показывал Ленин, одна из наиболее характерных особенностей мелкобуржуазного демократизма.

Из всех известных ему членов Исп. ком. Михайловский с особенной душевной теплотой вспоминает в вышеуказанной посмертной записке о ныне еще здравствующей Вере Николаевне Фигнер. „Я никогда не участвовал, — пишет он, — в террористических предприятиях, никогда не расспрашивал о приготовлениях к ним, об адресах подпольных изданий и т. п., но пользовался доверием у многих из этого круга. Как ни различны они были в отношении ума, дарований, характера, но все они одинаково были преданы своей идее до полного самоотвержения... Но ни о ком из них не вспоминаю я с таким благоговением, как о Вере Фигнер".

В 1882 г. некоторые члены правительства, боясь террористических покушений во время предстоявшей коронации Александра III, пытались частным образом вступить в сношения с „Народной Волей", чтобы выпытать условия, при которых она откажется от покушений. Некий адвокат Николадзе, получив поручение снестись с революционерами, передал об этом Михайловскому, и тот поехал в Харьков, где, как он знал, скрывалась Вера Фигнер, единственный еще остававшийся в России после разгрома „Народной Воли" член Исп. ком. Они решили, как рассказывает Михайловский, в качестве минимальных условий, потребовать освобождения из ссылки Чернышевского и расследования безобразий, творившихся на политической каторге в Каре. Но правительство в это время уже имело среди народовольцев тайного предателя — Дегаева и знало, что „Народная Воля" разбита и не в состоянии уже устраивать покушения. А в начале 1883 г. была арестована и Фигнер. Впрочем, Чернышевский вскоре после того был действительно освобожден из далекой сибирской ссылки и водворен в Астрахани.

*

Свой переход от народнического отрицания политической борьбы к признанию народовольческого террора Михайловский пытался объяснить и в легальной печати, на страницах „Отечественных Записок", причем прибегал к иносказательным примерам, взятым из борьбы болгар с турками. При этом он развил своеобразную теорию „совести" и „чести". Народнический

период русской интеллигенции был проявлением проснувшейся „совести“ перед народом и выдвинул тип „кающегося дворянина“. Но беспощадные преследования народнической интеллигенции со стороны правительства, — преследования, которые попирали ее человеческое достоинство, вызвали взрыв оскорбленной „чести“ и поставили на очередь вопрос о завоевании человеческих условий существования для этой интеллигенции. Так борьба за идеал прогресса для народа сменилась или дополнилась „борьбой за индивидуальность“ интеллигенции...

V

„Отечественные Записки“ и роль в них Михайловского

Не следует, впрочем, забывать, что непосредственные сношения с революционерами и непосредственное столкновение с их деятельностью — положительное, сочувственное или же отрицательное — являлись лишь *эпизодами* в общественной деятельности Михайловского. Деятельность эта — почти вся без остатка — посвящена была *легальной литературе*, социологическим исследованиям, литературной критике и публицистике, через посредство которых Михайловский проводил свои общественные взгляды. И органом, в котором проявлялась литературная деятельность Михайловского в лучшую пору его умственного развития, когда его талант развернулся с наибольшим блеском и когда он завоевал себе прочную всероссийскую популярность, любовь и почитание революционно и народнически настроенной молодежи и ненависть реакционеров всех мастей, — этим органом был журнал „Отечественные Записки“. С 1868—1869 гг., когда Михайловский напечатал в них свои первые статьи, и до 1884 г., когда журнал был закрыт, т. е. в течение целых 15 лет Михайловский неизменно был верен „Отечественным Запискам“ и поместил в них большую и лучшую часть всего написанного им.

„Отечественные Записки“ играли в 70-х и начале 80-х гг. ту же роль в развитии общественной мысли

России, как в конце 50-х и начале 60-х гг. „Современник“ Некрасова и Чернышевского. Все, что было лучшего, наиболее честного и мыслящего в тогдашней русской литературе, группировалось вокруг „Отечественных Записок“, и каждая новая книжка журнала встречалась и разрезывалась и в столицах и в глухой провинции с нетерпением и волнением и вызывала восторги одних, яростную полемику других.

Живой связью между „Современником“ и „Отечественными Записками“ служил до своей смерти (в 1877 г.) любимый молодежью поэт Некрасов, который поместил в журнале целый ряд своих лучших поэм и стихотворений. Мы уже знаем, что товарищами его по редакции были великий сатирик-художник Салтыков-Щедрин, каждое слово которого было пощечиной и для мракобесов самодержавной реакции, и для столпов развивающегося отечественного капитализма, и для трусливых, лицемерных, пресмыкающихся либералов,— а затем Елисеев, имя которого мало было известно в широких читательских кругах, так как он свои внутренние обозрения помещал без подписи, но который пользовался большим уважением и весом в писательском мире. Далее, в „Отечественных Записках“ выросли и окрепли такие таланты, как Златовратский и Успенский и целый ряд более мелких беллетристов-народников, бытописателей, публицистов. Там писал свои „Парижские письма“ знаменитый французский романист Золя, туда пожелал поместить статью о народном образовании даже столь чуждый революционному народничеству писатель, как Лев Толстой, наконец, там же были напечатаны (уже незадолго до закрытия журнала) первые большие экономические статьи будущего основателя российской социалдемократии Г. В. Плеханова (под псевдонимом „Г. Валентинов“), не говоря уже о многочисленных статьях Лаврова под разными псевдонимами. Редакция любовно и бережно относилась к молодым, начинающим писаталям, охотно их поощряла и — особенно в лице Салтыкова — усидчиво и добросовестно — к их великому удовольствию — выправляла и улучшала их произведения.

В числе этих молодых и начинающих писателей — с самого своего появления на страницах журнала —

совершенно исключительное положение занял Н. К. Михайловский.

Вот что уже в конце 60-х гг. т. е. после первого знакомства, писал о нем Некрасов в частном письме: „Есть у нас сотрудник Николай Михайловский. Теперь ясно, что это—самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, очень энергичен и работящ. „Отечественным Запискам“ он может быть полезен и надолго“.

Пророчество Некрасова сбылось в гораздо большей мере, чем даже сам он ожидал. Целый ряд блестящих и глубоких по содержанию статей Михайловского в первой половине 70 х гг. сразу сделал его имя громким и любимым среди передовой, радикальной интеллигенции. А сам он так сблизился со всей обстановкой и всем духом „Отечественных Записок“, до такой степени стал душой всего журнала, что тотчас после смерти Некрасова Салтыков и Елисеев предложили Михайловскому—как вещь сама собою разумеющуюся—заместить Некрасова на посту третьяго редактора. Михайловский это предложение принял и, таким образом, в течение семи лет, до закрытия журнала, был уже не только фактически, но и формально во главе журнала, тем более, что он являлся самым молодым и энергичным членом редакции, так как и Елисеев и Салтыков часто хворали, ездили лечиться за границу и т. п.

Михайловский был по натуре человек сдержанный и замкнутый. Кроме того, он отличался усвоенными с ранней молодости демократическими привычками и вел чрезвычайно скромный образ жизни. Поэтому он чувствовал себя неловко, не по себе на званых обедах у Некрасова или Салтыкова,—где бывали совершенно чуждые ему люди из мира крупных чиновников или дельцов, почему-либо, по мнению Некрасова, нужных или полезных журналу, — где шла игра в карты, которых Михайловский в руки не брал, и т. д. Вообще, из всех членов редакции он сошелся близко только с Елисеевым и то на время. Но вместе с тем Михайловский сумел всем редакторам внушить такое доверие к своему уму и такту, а также к своим моральным

качествам, что даже Некрасов в редкие моменты неофициальных встреч с Михайловским (как, напр., в заграничном курорте и особенно во время мучительной и продолжительной агонии на смертном одре) чувствовал потребность как бы исповедаться перед молодым Михайловским, старался оправдаться в тех своих „падениях“, которые, как мы знаем, одно время так отталкивали Михайловского.

А старик Салтыков глубоко ценил и уважал Михайловского и безусловно доверял ему не только литературное ведение журнала (во время своих заграничных поездок), но и судьбу собственных статей. Вот что пишет о своих отношениях с Салтыковым сам Михайловский. Указав, что личных отношений между ними почти не было, он прибавляет: „Тем ценнее представляется мне наше литературное единение. Оно было свободно от всяких посторонних подмесей“. „Наша совместная служба на радость и пользу пошехонцам, — как он выражался в одном письме, — вытекала исключительно из общности взглядов. Без сомнения, не всегда и не во всем мы вполне сходились; случались и разногласия, но они никогда не достигали размеров принципиального разлада... Несмотря на ворчливость и раздражительность покойника, мне, по крайней мере, было легко иметь с ним дело, потому что, при общности взглядов и взаимном доверии, взаимные уступки не заключали в себе ни тени чего-нибудь унизительного“. Так, однажды, возвращая Михайловскому корректуры его статей, Салтыков в препроводительной записке просил согласиться со сделанными им поправками и прибавлял: „Я зачеркнул, между прочим, и упоминание об Анненкове. Если хотите, восстановите его, но он мой приятель, и я както еще не возвысился до того, чтобы оставить отца и матерь и прилепиться к журналу“. Зато он сам, в свою очередь, целиком доверял Михайловскому участь своих статей. Вот, напр., что он писал ему из Парижа в сентябре 1881 г., посылая третье „Письмо к тетеньке“: „Думаю, что статья и неудовлетворительна и не весьма цензурна. Поэтому предоставляю вам делать с нею, что хотите: исправлять, печатать, не печатать и т. д. Спорить и прекословить не стану, а буду, напротив, очень благодарен“ (из статьи Михайловского „Материалы для

литературного портрета М. Е. Салтыкова", написанной в 1890 г.)

Та центральная роль, которую Михайловский, как главный идеолог и *теоретик* народничества, играл в „Отечественных Записках", видна также из характеристики этого журнала, данной им в своих „Литературных воспоминаниях". В самом деле, основные идеи, которые преобладали в „Отечественных Записках", которые объединяли самых различных сотрудников, при всех оттенках их взглядов, *это были идеи самого Михайловского.*

„Покаяние в историческом грехе перед народом,— пишет он,—идея долга народу отражалась и в литературе, всего ярче в „Отечественных Записках". Кроме открытого заявления этой идеи, как руководящего принципа, она составляла тот общий фон, на котором рисовались узоры лирики, беллетристики, критики, философии, истории, экономики и политики. Прежде всего предстояло, конечно, изучение народа в его нуждах и чаяниях. Это и делалось во множестве статей описательного, публицистического и беллетристического характера. Добросовестность изучения и участливое отношение к народу составляли необходимые условия этих статей, а затем они могли во многом расходиться между собой. Так, напр., хотя противоположность между гг. Успенским и Златовратским далеко не столь значительна, как часто писалось, но их деревенские наблюдения и показания все-таки не совпадали. Любопытна, однако, одна общая им черта, некоторый страх перед европейской цивилизацией, имеющей разрушить устои народной жизни, страх или недоверие, вообще опасливое, скептическое отношение". При всем разнообразии индивидуальных особенностей разных сотрудников журнала, от самого Михайловского, который уже тотчас же по выходе „Капитала" Маркса указывал на опасность капитализма в России, до крайнего народника В. В., автора статей о „Судьбах капитализма в России", и даже до такого случайного сотрудника, как Л. Толстой, „ценною представлялась, — говорит Михайловский, — общая мысль, состоявшая в охранении и дальнейшем развитии средневековых форм труда". Ибо, хотя „существующие у нас средневековые формы труда (т. е.

сельская община, связь земледелия с домашней промышленностью и т. п. *Б. Г.*) сильно расшатаны, но мы не видели резона совсем кончать с ними, в угоду каких бы то ни было доктрин, либеральных или не либеральных".

Эти две идеи, о которых говорит здесь Михайловский и которые были объединяющим началом и связующим звеном всего содержания „Отечественных Записок", — идея покаяния интеллигенции и долга народу, с одной стороны, и идея противоречивости европейской цивилизации, которая может быть опасной для России — с другой, эти идеи, как мы уже знаем, с особенной силой и яркостью отстаивал и проповедывал именно Михайловский. Еще в 1876 г. в одном из писем к нему из деревни Салтыков писал, между прочим: „До свидания, жму вашу руку, ту самую, *которая выдвинула вперед вопрос о качественности цивилизации*" (курсив наш. *Б. Г.*)

Из этого видно, что Салтыков считал Михайловского творцом идеи о противоречности цивилизации, о степенях и типах культуры и т. д. Правда, частично эта идея проявлялась уже у Руссо, затем у Фурье, от которого заимствовал ее Чернышевский, один из первых учителей Михайловского, и, наконец, у Прудона, якобы диалектические рассуждения которого о двух сторонах каждого явления, о благе, становящемся злом и т. д., целиком использовал Михайловский, при всей своей нелюбви к диалектике. Но несомненно то, что он особенно глубоко, подробно и всесторонне разработал эту идею, привлек для ее обоснования социологию, историю и биологию и тем придал ей вид научности. Поэтому, хотя центральные идеи народничества одушевляли всех сотрудников „Отечественных Записок", но Михайловскому по праву принадлежит роль именно главного *теоретика* и *публициста* народничества.

Михайловский являлся в то же время самым плодовитым и разносторонним сотрудником „Отечественных Записок", помещая в них от 400 до 700 страниц в год. Очень часто бывали выпуски журнала, в которых одновременно были помещены и серьезная социологическая статья, и литературное обозрение, и публицистическая заметка или рецензия. Мы знаем также, что, кроме

всех этих видов литературы, Михайловский печатал в „Отечественных Записках“ в середине 70-х гг. полубеллетристические, полуавтобиографические очерки „Вперемежку“. По большей части он свои статьи подписывал своей фамилией, но нередко, по тем или иным соображениям, не подписывал вовсе, что делали и многие другие его товарищи по журналу, или прибегал к псевдонимам. Впрочем, литературные противники его из реакционного или буржуазного лагеря обыкновенно тотчас узнавали его по стилю и содержанию его статей.

Кроме вышеупомянутых его больших социологических работ, Михайловский напечатал в „Отечественных Записках“ целый ряд очерков под общим названием „Записки профана“, „Дневник и переписка Ивана Непомнящего“, „Письма о правде и неправде“, „Записки современника“, „Письма постороннего“, „Литературные и журнальные заметки“ и т. д., а также отдельные большие статьи, как „Суздальцы и суздальская критика“, „Философия истории Луи Блана“, „Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель“, „Что такое счастье“, „Идеализм, идолопоклонство и реализм“, „Вольница и подвижники“, „Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского“, „Граф Бисмарк“, „Иван Грозный в русской литературе“, „Жестокий талант“, „Герои и толпа“, „Патологическая магия“ и много других.

В этой огромной и напряженной литературной работе много приходилось Михайловскому, как и Салтыкову, страдать от цензуры, которая иногда искажала, а изредка и вовсе не пропускала его статей.

Наконец, после двух предостережений „Отечественные Записки“ были закрыты в начале 1884 г. Это было огромным ударом для всех их многочисленных сотрудников, читателей и почитателей, но особенно для Салтыкова и Михайловского, которые без любимого журнала почувствовали себя как бы бездомными и бесприютными. Салтыков ответил на это событие сказкой „Приключение с Крамольниковым“, а Михайловский еще раз обратился к нелегальной литературе. В 1884 г. приехал из-за границы, для восстановления „Народной Воли“, известный революционер Г. А. Лопатин, которого Михайловский очень ценил и уважал. Так вот ему он

передал для помещения в возобновленном журнале „Народная Воля“ статью „О закрытии „Отечественных Записок“, где, между прочим, имеются такие строки: „Это был почти единственный орган русской печати, в котором сквозь дым и копоть цензуры светилась искра понимания задач русской жизни во всем их объеме. За это он должен был погибнуть — и погиб. Было бы странно, если бы мрачная правительственная сила не наложила раньше или позже руки на мало-мальски светлое явление. Но мы утверждаем все-таки, что, закрыв „Отечественные Записки“, Толстой съел чижика[1], и не того от него ждали. Ждали искоренения революции, прекращения крамолы, а мы живы и надеемся, что в скором времени в этом убедятся все“.

Увы, вряд ли Михайловский в это время сам верил в близость возрождения революционного движения. Попытка Лопатина восстановить „Народную Волю“ была попыткой отчаяния. Вскоре он был арестован с целым списком адресов, и последовавший затем массовый разгром сочувствовавшей революционерам молодежи в разных местах России пресек эту попытку в самом зародыше. Наступила глухая реакция 80-х гг.

VI

Царствование Александра III и борьба Михайловского с реакцией в обществе и литературе

Правительственная реакция отразилась не только на судьбе „Отечественных Записок“, но и на личной судьбе самого Михайловского. Уже в 1879 г. у него было несколько безрезультатных обысков, о которых он с большим юмором рассказал в своем журнале. Вызывали его несколько раз на допрос в жандармское управление, учинили над ним негласный надзор, который, благодаря глупости полиции, приводил иногда к забавным недоразумениям. Но его все же, за неимением каких-либо улик о его связях с революционерами, оставляли в покое. Но вот в конце 1882 г. Михайлов-

[1] Толстой—тогдашний архиреакционный министр. „Съел чижика“ взято из одной сказки Щедрина: „Добрые люди от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!“

ского выслали из Петербурга, якобы за речь, сказанную им на студенческой сходке в Технологическом институте, а на самом деле потому, что предатель и провокатор Дегаев сообщил о его свидании с Верой Фигнер. На это намекало и правительственное сообщение о закрытии „Отечественных Записок“, говоря, что один из важных государственных преступников сообщил о связях „Отечественных Записок“ с революционным миром.

Михайловский выбрал для жительства Любань, Новгородской губ., станцию Октябрьской ж. д. Но вскоре он с разрешения департамента полиции переехал в Выборг, где и поселился надолго. Оттуда, будучи оторван от непосредственного руководства журналом, он и писал в „Отечественные Записки“ свои публицистические „Письма постороннего“. В Выборге Михайловский подружился и близко сошелся с высланным туда же старым писателем-социалистом Н. В. Шелгуновым, автором нашумевшей прокламации начала 60-х гг. „К молодому поколению“, а также ряда статей о положении рабочего класса в Англии и Франции, — статей, вызвавших к нему сочувствие и благодарность первых рабочих социалистических кружков.

Только в 1886 г. Михайловскому разрешили вернуться в столицу.

В течение ряда лет, лишенный своего журнала, он эпизодически и отрывочно сотрудничал в разных органах: московском журнале „Русская Мысль“, газете „Русские Ведомости“, а одно время, в самом конце 80-х гг., попробовал было войти в более тесные сношения с петербургским журналом „Северный Вестник“, но, поместив там несколько статей, не сошелся с редакцией по принципиальным вопросам миросозерцания и снова стал литературным скитальцем. Наконец, в начале 90-х гг. Михайловский делается постоянным сотрудником издававшегося Оболенским мало распространенного и невлиятельного журнальчика „Русское Богатство“. Появление Михайловского в журнале сразу резко изменило его характер и создало ему популярность. Михайловский стал его фактическим редактором и оставался таковым до самой смерти, т. е. свыше 10 лет. О важнейших сторонах и моментах литературной деятельности Михайловского в эпоху „Русского Богатства“ мы скажем

несколько позднее. Теперь же остановимся на его борьбе с общественной и умственной реакцией во всех ее проявлениях в мрачное царствование Александра III.

Характерной особенностью 80-х гг. является не только правительственная реакция, но глубокий упадок активного настроения в среде так называемого „общества". Разгром всех революционных организаций и кружков сопровождался с другой стороны полной пассивностью и покорностью либералов и массовым ренегатством; самым ярким проявлением его было публичное отречение от революционной деятельности и переход на сторону самодержавия бывшего члена Исп. ком. „Народной Воли" и редактора ее центрального органа Льва Тихомирова, старые товарищи которого были частью казнены, частью томились в каменных мешках Шлиссельбурга.

Одна часть молодежи ушла в личную жизнь, увлекалась карьеризмом. Другая часть, разочарованная в революционной деятельности, поддавалась проповеди „малых дел", которая раздавалась со страниц некоторых якобы прогрессивных журналов вроде „Недели". Наконец, многие искренно увлекались „толстовством". Именно в это время, в начале 80-х гг., Толстой, как известно, выступил в роли пророка нового, очищенного христианства, в роли морального проповедника. Он учил, что всякая деятельность, направленная на изменение общественного строя, бессмысленна и даже вредна, что особенно вредно и греховно сопротивляться злу насилием; что задачей каждого нравственного человека является лишь самому не делать зла и заниматься внутренним самосовершенствованием.

На почве общей реакции произрастали такие цветки, как спиритизм, т. е. массовое увлечение столоверчением, вызыванием духов и т. п., мистицизм, т. е. погоня за религиозными настроениями, а в области литературы— или мрачный пессимизм Гаршина, или веселое зубоскальство Чехова над мещанской тупостью, или проповедь „трезвости" и „малых дел", или, уже в начале 90-х гг., увлечение „новыми словами", вроде „декадентства", т.-е. „упадочной литературы", в которой, ради мнимо оригинальной формы, изгонялось из поэзии не только общественное, но подчас и всякое содержание.

Правда, где-то в глубине, как бы на задворках общественной жизни, именно в это время, в первой половине 80-х гг., начиналось бурное, хотя и стихийное движение текстильных рабочих против чудовищной эксплоатации пышно расцветавшего капитализма, и, одновременно с этим раздался голос Плеханова, возвещавшего зарождение социалдемократии в России и предсказывавшего будущую великую роль пролетариата в деле политического и экономического освобождения народных масс этой России. Но для Михайловского, который из мирного народника стал сторонником борьбы за либеральные реформы, который от крестьянства перенес свои надежды на интеллигенцию и либеральное „общество",— для него и рабочие волнения Московского промышленного района и появление плехановской „Группы освобождения труда" прошли бесследно [1]. Весь свой литературный талант он направлял в течение 80-х гг., поскольку позволяли цензурные условия, на борьбу с реакцией и уродливыми явлениями в литературе и на защиту того миросозерцания, органом которого являлись закрытые „Отечественные Записки".

Между прочим, в этот период своей литературной деятельности, когда торжествовавшая реакция и отсутствие своего журнала мешали проявиться его *публицистическим* способностям, непосредственному воздействию на общественное мнение по поводу тех или иных злоб дня, Михайловский зато написал свои наиболее ценные и обстоятельные *критические* работы, посвященные анализу крупнейших писателей того времени. Если уже раньше, в 70-х гг., он дал такие блестящие литературные характеристики, как сравнение Прудона и Белинского, как „Десница и шуйца Льва Толстого" и другие, то теперь, начиная с 80-х гг., большие литературно-критические статьи следуют одна за другой, приурочиваясь чаще всего к смерти того или иного писателя или появляясь в качестве предисловия к собранию его сочинений.

---

[1] Гораздо проницательнее его оказался крайний реакционер Катков, который назвал оправдательный приговор суда по отношению к рядовым участникам знаменитой морозовской стачки в Орехове-Зуеве (по всем 101 пунктам обвинительного акта)—„*101 салютационным выстрелом в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса*".

Эта серия критических работ открывается ещё в „Отечественных Записках“ замечательной статьей „Жестокий талант“, посвященной Достоевскому. В этой статье, разбирая всю литературную деятельность великого писателя, умершего незадолго перед тем, Михайловский с большим литературным мастерством и остроумием показывает, что основной чертой таланта Достоевского было *мучительство,* что его любимые типы — это люди, величайшим наслаждением которых было мучить своих близких и мучиться самим, что, наконец, сам Достоевский находит удовольствие в том, чтобы мучить своего читателя.

Далее, очень много внимания посвящал Михайловский Толстому, особенно борьбе с его моральной проповедью, которую он отвергал самым решительным образом, считая ее вредной и реакционной. Он даже в начале 80-х гг. лично познакомился с Толстым, бывал у него в Москве и пытался спорить с ним, но, конечно, безуспешно.

После смерти Салтыкова (в 1889 г.) Михайловский посвятил ему ряд глубоко прочувствованных статей и воспоминаний, которые он издал также отдельной книгой. Интересную статью посвятил он Лермонтову („Герой безвременья“), в 50-летие его смерти (1891 г.), а также Шелгунову, в качестве введения к собранию его сочинений. Наконец, в том же 1891 г. Михайловский начал длинный ряд статей под общим названием „Литературные воспоминания и современная смута“, где воспоминания чередуются с литературными портретами и характеристиками (Некрасова, Салтыкова, Елисеева, Успенского, Боборыкина и т. д.), а также с полемическими выпадами против разных ничтожеств, которых невежество равнялось их самомнению. В этой последней области Михайловский бывал беспощаден. Уже в 70-х гг. он прославился своими язвительными „Письмами к ученым людям“, в которых совершенно уничтожал ряд реакционных профессоров; уже тогда его убийственная полемика с разными литературными выскочками и самозванцами создавала ему множество ожесточенных врагов. Теперь, в начале 90-х гг., Михайловский в целом ряде непринужденных бесед с читателями подвергал бичующим насмешкам, сопровождавшимся иногда и

серьезным анализом новых общественно-литературных явлений, множество самых разнообразных „новых слов", выросших в атмосфере затхлой реакции. Но тогда же, как мы еще увидим, он с таким же консервативным упорством и насмешливостью обрушился и на то действительно *новое слово*, каким являлись первые ростки русского марксизма, причем охотно валил их в общую кучу с декадентством, ницшеанством (т. е. увлечением идеями германского философа Ницше о грядущем „сверхчеловеке") и тому подобными, как ему казалось, духовными уродствами. В этом, помимо более глубоких причин, которые мы рассмотрим в следующей главе, сказывался и свойственный Михайловскому *консерватизм мышления* и его скептическое и даже враждебное отношение ко всему, что противоречило народнически-реалистическому направлению „Отечественных Записок".

*

Не отказывался Михайловский в эту эпоху и от попыток обращаться к обществу путем *нелегальной* печати, не отказывался он также от сношений с возрождавшимися революционными кружками. Но характерно, что если уже первый политический „Летучий листок", написанный Михайловским по поводу суда над Верой Засулич [1] в 1878 г., т. е. накануне его сближения с „Народной Волей", если уже этот листок был принят некоторыми революционными народниками за произведение *либералов*, то теперь, в конце 80-х и начале 90-х гг., Михайловский в своей нелегальной деятельности все больше становился на почву чистого либерализма, все больше суживал свои требования исключительно политической свободой без малейшей *социальной окраски*.

Одним из видов политического упадка 80-х гг. был отказ даже революционных групп *от борьбы за социализм* в данный момент, с тем чтобы этой борьбой не оттолкнуть либералов и не разбивать силы всех враждебных самодержавию элементов. Против этого суживания революционных задач и революционной тактики еще в 1883 г. выступил Плеханов, доказывавший, что

---

[1] Суд присяжных, как известно, оправдал Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова.

для активных социалистов „социализм и политическая борьба“ (так называлась его первая социалдемократическая брошюра) неразрывно связаны между собой. Но для Михайловского, как мы еще увидим, не только тогда, но и до самой его смерти марксистская идеология оставалась чуждой и непонятной, между прочим, и потому, что все свои надежды он с этих пор возлагал именно на интеллигентское „общество“, очень далекое от социализма.

Поэтому, когда в 1888—1889 гг. возникла нелегальная, полулиберальная по своей программе группа „Самоуправление“, выпустившая несколько номеров подпольного журнала под тем же названием, Михайловский охотно дал для этого журала две-три статьи. Одна из них была посвящена ренегатству Тихомирова, а другая — известному крушению царского поезда в октябре 1888 г. на станции Борки. Тон этой статьи почти совершенно либеральный. Характеризуя задушенную реакцией и обнищавшую Россию Александра III, Михайловский пишет: „Пусть умирает Россия, лишь бы были задушены крамолы... Но царевы слуги, занятые искоренением крамолы, предпочли дождаться, чтоб только бог спас царя... Заглушая всякий свободный голос России, они подготовили крушение 17 октября. Может наступить гроза грозней 17 октября... Россию может постичь острое несчастье — война. В распоряжении правительства окажутся, кроме пушечного мяса, только политически благонадежные подрядчики, поставщики картонных подошв, гнилых сухарей и другие мошенники. Желать ли этого несчастья для России?.. Бог может спасать царей, но народы спасаются сами“.

Войны тогда не было, но вместо нее в 1891 г. Россию постиг страшный неурожай и голод, они показали ту пропасть, к которой катилась Россия, и сыграли такую же роль в нашем общественном развитии и в пробуждении общественной активности, как неудачная война. И вот на голод Михайловский вновь откликнулся нелегальной прокламацией, под заглавием „Свободное слово“, написанной в январе 1892 г. и напечатанной в тайной типографии только что тогда возникшей группы „молодых народовольцев“ (одним из ее основателей был М. С. Ольминский-Александров, нынешний предсе-

датель Истпарта). И в этой прокламации мы снова читаем: „Чем кончится бедствие, если правительство не изменит своих отношений к обществу,—государственным банкротством, новым террором, политическим обессилением и раздроблением России, народным бунтом, потопленным в народной крови,—предвидеть нельзя. Но есть еще время... Генерал-губернаторы, министры и губернаторы привели Россию к самому краю пропасти. Пора призвать других людей. Только созыв выборных представителей земли и свободное обсуждение настоящего положения рассеют вялость и недоверие общества... вызовут энтузиазм самоотвержения, который всегда спасал Россию“.

Итак, мы видим здесь не призыв к народу и даже не к интеллигенции, а фактическое обращение к царю, в надежде, что он образумится и созовет народных представителей. Неудивительно, что при таком настроении Михайловский не поладил со слишком революционной для него и слишком социалистической группой „молодых народовольцев“ и предпочел сблизиться с подготовлявшейся тогда организацией „Народного Права“, или народоправцев, которые были настроены гораздо умереннее, на время откладывали социалистическую агитацию и пропаганду, выдвигая взамен политические требования, которые могли бы объединить все оппозиционные элементы. Михайловский участвовал на тайном подготовительном совещании народоправцев в Саратове в 1892 г., редактировал их программу, должен был также редактировать их орган, для которого дал статьи. Но весной 1894 г., благодаря предательству, в Смоленске была арестована подпольная типография народоправцев, вся организация разгромлена, и ее руководители (М. А. Натансон, Н. С. Тютчев и др.) были сосланы.

Сам Михайловский еще в 1891 г. был снова выслан из Петербурга за участие в демонстративных похоронах Шелгунова, несмотря на то, что он и в похоронной процессии и на кладбище отговаривал молодежь от всяких выступлений и сам никакой речи не произнес. Впрочем, на этот раз высылка была непродолжительна. Вернувшись в столицу, Михайловский целиком отдался своему любимому делу — редактированию „Русского Богатства“. С этого момента одной из важнейших сторон его деятельности становится *борьба с марксизмом.*

VII

Михайловский и марксизм

Русский марксизм, основоположником и первым теоретиком которого был Плеханов и который в руках Ленина стал позднее могучим орудием революции, — этот русский марксизм воспринял основные положения учения Маркса и Энгельса, т. е. исторический материализм, теорию развития капитализма и теорию грядущей пролетарской революции, и применил их к русской жизни, к развитию русских общественных отношений.

Русский марксизм, как и марксизм вообще, исходил из того положения, что все общественные отношения, государственный строй и „идеологии", т. е. верования, нравственные понятия, искусство, наука и философия, являются лишь „надстройкой" на экономическом фундаменте, т. е. на тех экономических „производственных" отношениях, в какие люди неизбежно вступают между собой, в зависимости от уровня развития „производительных сил", т. е. технического прогресса. Поэтому русские марксисты были уверены, что раз в России быстрым темпом шло развитие капитализма, разрушавшего прежнее натуральное хозяйство и старые патриархальные отношения, раз вместе с фабричной промышленностью рос и пролетариат, то этот капитализм непременно подточит веками стоявшее здание самодержавия и приведет Россию к революции, в которой пролетариат будет играть главную роль, роль застрельщика и руководителя. Поэтому также, в отличие от народников, русские марксисты считали развитие капитализма в России явлением прогрессивным, так как оно, во-первых, разрушало политический и культурный застой старой, дворянско-самодержавной и крестьянско-патриархальной России, а во-вторых, порождало, подготовляло, организовывало и сплачивало своего собственного будущего могильщика — пролетариат.

Но в то время как революционные марксисты, вышедшие из школы Плеханова, а затем и Ленина, смотрели на самый капитализм, как на временный исторический этап, за которым должна последовать пролетарская коммунистическая революция, появились

в 90-х гг. и другие „марксисты", для которых марксизм был лишь удобным средством отказаться от народнического социализма и стать либералами. Для них капитализм был благом сам по себе, и они устами марксиста Струве, позднее правого кадета, звали интеллигенцию „оставить нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму".

Как же отнесся к русскому марксизму 90-х гг. Михайловский? Уже двадцать лет перед тем, в 1872 г., в заметке по поводу появления на русском языке „Капитала" Маркса, Михайловский поставил перед собой вопрос, каково будет положение русских марксистов, если такие когда-либо появятся. Ведь, по Марксу, носителем социализма является лишь пролетариат, которого в России нет, следовательно, этот воображаемый марксист должен будет стоять за развитие капитализма в России, т. е. за разорение всей массы мелких собственников, чтобы предварительно создать пролетариат. Эту же мысль он развил в своей известной статье „Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского" (1877 г.) В ней он признавал огромные научные заслуги Маркса, но обвинял его в желании установить для всех стран общий шаблон развития. На эту статью ответил сам Маркс „письмом редактору „Отечественных Записок", которое было напечатано в журнале „Юридический Вестник" лишь спустя несколько лет после смерти Маркса. Маркс решительно отгораживался от сомнительной чести быть сочинителем единоспасающих формул и рецептов для всяких исторических эпох и условий. Но он указал при этом, что раз в какой-нибудь стране начался процесс капиталистического развития, то он пойдет своим естественным, неизбежным путем, и остановить его не в силах хотя бы самые благородные утописты и мечтатели.

В начале 90-х гг., при первом появлении марксистского течения в России, когда марксисты образовали лишь нелегальные рабочие кружки, где проповедывали новое учение, когда у них не было возможности высказываться в легальной литературе, Михайловский выступил против них в своем журнале „Русское Богатство" с рядом злых и насмешливых статей. Марксисты делились им на „пассивных", „активных" и „зрите-

лей". „Пассивные" в лучшем случае могли лишь вносить немного знаний в среду фабричных рабочих. „Зрители" должны были, по его мнению, со спокойствием фаталистов созерцать совершающийся исторический процесс, в частности, разорение русского крестьянства, а „активные" должны были *содействовать* этому процессу, строить фабрики и радоваться даже неурожаям, гонявшим голодных и разоренных крестьян из деревень в города, под иго капитала. Эти карикатурные выпады против людей, которые не могли ответить в легальной печати, сопровождались насмешками над историческим материализмом и гегелевской диалектикой, „триада" которой, по мнению Михайловского, являлась единственным основанием для всех социалистических упований марксистов.

Понятно, марксисты в долгу не оставались. Они писали протестующие письма Михайловскому, которые он, в свою очередь, высмеивал. Летом 1894 г. появилась известная книга Струве с критикой народничества. Но он не был последовательным марксистом-материалистом, и в нем, кроме того, уже иногда чувствовался буржуазный душок, который отталкивал от него революционную молодежь.

И настоящим голосом из подполья, голосом, полным возмущения против „легальной" и „салонной" публицистики, травившей марксистов, как каких-то выродков в семье благородной русской интеллигенции, голосом, полным сдержанной революционной страсти, прозвучала появившаяся осенью того же года анонимная гектографированная брошюра, принадлежавшая перу *Ленина: „Кто такие друзья народа и как они воюют против социалдемократов"*. Автор убедительно доказывал полное непонимание Михайловским марксизма и полный отказ его от революционности.

А в самом конце года появилась знаменитая книга *Бельтова* (Плеханова) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", где в яркой и блестящей форме, достаточно понятным, хотя и подцензурным языком излагалась всеохватывающая и глубоко-революционная философия марксизма и где Михайловский беспощадно высмеивался и вышучивался. Как известно, эта книга произвела решительный сдвиг в умах

молодежи в сторону марксизма. А когда летом 1896 г. разразилась историческая стачка питерских ткачей и прядильщиков, показавшая всему миру зарождение той новой революционной силы, появление которой предсказывали марксисты,—идейная победа марксизма была обеспечена.

Правда, Михайловский не складывал оружия и в течение ряда лет, чуть не до самой смерти, продолжал свою борьбу с марксизмом. Он враждебно встретил в 1897 г. талантливый и глубоко-интересный марксистский журнал „Новое Слово", который в течение своего кратковременного 8-месячного существования играл роль марксистского „Современника" или „Отечественных Записок". Правда, благодаря внутренней борьбе внутри самого марксизма между „ортодоксами", т. е. правоверными, настоящими, революционными марксистами, с одной стороны, и оппортунистами—с другой; благодаря непрерывным закрытиям марксистских журналов и, наконец, благодаря появлению в самом конце 90-х гг. партии соц.-рев., Михайловский снова надеялся торжествовать победу. Мы помним его горделивое „предсказание", сделанное в январе 1901 г.,—предсказание, над которым история так жестоко посмеялась. Но теперь, когда вся эта полемика давно позабыта, когда современная молодежь знает Михайловского лишь как предмет нападок со стороны Плеханова и Ленина (как она знает весьма ценимого и уважаемого Михайловским Дюринга лишь по книге Энгельса),—теперь пора попытаться спокойно и беспристрастно восстановить действительное отношение Михайловского к марксизму, *причину* его непонимания и вражды.

В своей полемике со Струве, Плехановым, Туган-Барановским и другими тогдашними марксистами Михайловский не раз говорил, что они нередко „его же добром бьют ему челом", что многие из тех идей, которые выдаются за новые и оригинальные открытия марксизма, были ему, Михайловскому, известны давно и печатно им высказывались. В самом деле, считать Михайловского чистым идеалистом в истории, приписывать ему веру во всемогущую роль „критически мыслящей личности", которая может лепить из „толпы", как из глины, все, что угодно, называть его, как это

делал Плеханов, „субъективным героем“, для которого не существуют законы истории,—все это можно было делать лишь в пылу полемики, вызванной, правда, жестокими, несправедливыми и подчас прямо нелепыми нападками Михайловского на русских марксистов.

Еще в 1869 г., в статье „Аналогический метод в общественной науке“, Михайловский жестоко издевался над профессором Герье, отрицавшим закономерность исторического процесса. „Г. Герье, предполагая, что противоречит Боклю, указывает в пику ему на „идеи“, как на двигательную силу народов. Едва ли какой-нибудь благоразумный человек—Бокль у compris [1]—когда-либо сомневался в таком значении идей, что *не мешает сим последним самим подчиняться многоразличным условиям.* Есть, правда, идеи, для которых, фигурально выражаясь, закон не писан. Эти последние суть, по определению Гейне, „всякая глупость, которая вам взбредет в голову“. Но о несуществовании для них законов можно говорить именно только фигурально. *В сущности, идеи самого г. Герье имеют свои причины*“ (Сочинения, т. I, стр. 368. Курсив везде наш. *Б. Г.*)

Что важнейшее место в числе этих причин занимает так называемый „экономический фактор“, Михайловский, как мы уже знаем, никогда не отрицал, и потому в середине 90-х годов в полемике с Туган-Барановским он с полным правом мог сказать о себе: „Я не думаю отрицать великое значение экономического фактора в истории,—да *оно и никогда не отрицалось в русской литературе* (т. е. в писаниях и самого Михайловского. Курсив наш. *Б. Г.*) Я утверждаю лишь, что г. Туган-Барановский защищает „значение экономического фактора“ дурно: рубит сплеча там, где требуется тонкий анализ, извращает одни факты, закрывает глаза на другие, учит незнанию“. Это происходит, между прочим, оттого, что он „придает экономическому фактору метафизический характер сущности исторического процесса, характер той „самой жилы“ (из цитированного Михайловским рассказа Успенского „Неизлечимый“. *Б. Г.*), в которую можно попасть, минуя „там нервы эти разные“ (Сочинения, т. VIII, стр. 321). Нам кажется,

---

[1] Т. е. в том числе.

что под этой характеристикой тогдашнего Туган-Барановского, которая годится и для всякой вульгаризации, упрощения марксизма, мог бы смело подписаться и Плеханов. Мало того. Та „*смена форм* кооперации", которую Михайловский считал основным законом общественного развития, как мы уже указывали, очень близко подходит к марксовским „производственным отношениям".

Дальше, в той же самой статье, Михайловский говорит: „Без сомнения, экономический фактор достаточно влиятелен для того, чтобы его можно было принять за „центральную цепь" исторического процесса, но надо помнить, что это делается лишь в видах тех или других удобств исследования, а не благодаря открытию „самой линии", безусловного начала всех начал; что звенья этой цепи обусловливаются то как причина, то как следствие, другими историческими факторами" (там же, стр. 332). Эти оговорки Михайловского объясняются, конечно, его органическим непониманием диалектического метода марксизма. Но что и они отчасти довольно метко попадали лишь в вульгаризаторов, т. е. упростителей марксизма, попросту отрицавших „роль идей" или пытавшихся *всякую* идею во что бы то ни стало выводить из „экономики", — видно не только из подобных же всем известных оговорок у Плеханова и самого Энгельса, но и из интересного, уже после нашей революции опубликованного [1] документа: обширного письма группы марксистов к Михайловскому, написанного в самом начале 1894 г., т. е. еще до известной полемической работы Ленина о „друзьях народа". В этом письме анонимные авторы его следующим образом возражают Михайловскому: „Говоря о гегелевской триаде, вы приписываете, напр., экономическому материализму в высшей степени странное утверждение, по которому он будто бы *все* изменения духовной жизни стремится свести к экономическим изменениям. Мы не знаем такого места ни у Маркса ни у Энгельса, из которого можно было бы вывести, что они *весь* процесс развития критической мысли во *всех* его последовательных фазах считают

---

[1] „Былое", № 23, 1924 г.

возможным поставить в зависимость от изменяющегося экономического элемента. Никогда Маркс и Энгельс не могли утверждать, напр., что теорий Галилея, Кеплера или Ньютона возникли в головах этих мыслителей только потому, что к этому толкали их изменяющиеся экономические факты. Процесс развития критической мысли не может для экономического материализма не быть до значительной степени самостоятельным процессом".

Здесь не совсем удачно выражена та мысль, что развитие идей, которые в конечном счете зависят от „экономического фактора", т. е. от развития производительных сил и общественных отношений, имеет в то же время и *свою внутреннюю логику*, без понимания которой нельзя объяснить — во всей его конкретности — ни одного факта в истории идеологии. Но то, что неизвестным марксистам-*революционерам*, воспитавшимся на Плеханове, казалось „странным утверждением", было и есть весьма распространенным упрощенством у весьма и весьма многих новообращенных марксистов (достаточно вспомнить тех, кого имели в виду оговорки Энгельса в 90-х годах), в частности, у нас, начиная с Туган-Барановского середины 90-х гг. и кончая некоторыми современными „механистами".

Бывали моменты, когда Михайловский, говоря о роли некоторых „надстроек", применял как будто бы марксистский подход и пользовался почти марксистской терминологией. Так, в 1880 г., в эпоху, когда русское „общество" настойчиво и упорно ждало „конституции", политической свободы, Михайловский написал следующие трезвые строки: „Политическая свобода бессильна изменить взаимные отношения наличных сил в среде самого общества; она может только обнаружить их, вывести на всеобщее позорище, а вместе с тем, следовательно, придать бо́льшую яркость, обострить эти отношения". Не напоминают ли читателю эти строки некоторые места из Маркса, сказанные по поводу Февральской революции 1848 г., или писания большевиков в эпоху нашей Февральской революции, направленные против благодушной обывательской веры в то, что „свобода" должна принести с собою всеобщее „благорастворение воздухов"?

Такому же критическому пересмотру должны быть, при объективном исследовании, подвергнуты и взгляды Михайловского на роль личности в истории. Сам он подчеркивал, что в своих статьях о „героях и толпе“ он употреблял слово „герои“ в особом, условном, отнюдь не „героическом“ смысле, что иногда даже под „героями“ он разумел людей, совершенно случайных и появляющихся на короткий момент с тем, чтобы затем бесследно кануть в историческую Лету, но которые играют роль искры, брошенной в кучу пороха, т. е. переводят скрытую, потенциальную энергию толпы в энергию действенную, кинетическую. Статьи о „героях и толпе“ представляют собою несомненно известную научную заслугу Михайловского и притом не только не противоречат марксизму, но, наоборот, являются, с одной стороны, блестящей иллюстрацией диалектического перехода количества в качество, а с другой — дают ту *психологическую основу,* в виде *социального гипнотизма,* без которой нельзя понять многие конкретные случаи влияния великих исторических деятелей.

„Вы выдвигаете далее, — пишут авторы цитированного нами письма, — как возражение экономическому материализму, вопрос о „героях и толпе“. Вопрос этот, несомненно, очень почтенный, и теория экономического материализма совсем не необходимо должна вести к его игнорированию. Всякая классовая борьба предполагает наличность „героев и толпы“, и систематическое появление героев, ведущих за собою толпу, нельзя поэтому не признать постоянным фактом исторического процесса; но именно потому, что это — постоянный факт, признание его ни в коем случае не может пошатнуть теорию экономического материализма. Он мог бы пошатнуть ее только ценою разрушения понимания истории как процесса, при котором история была бы разбита на ряд случайных, не вытекающих одно из другого событий“ („Былое“, № 23, стр. 119). Далее авторы письма рядом остроумных рассуждений доказывают, что влияние „героев“ на „толпу“ тоже подчинено исторической закономерности. Российская революция является великой иллюстрацией и подтверждением правильно понятого марксистского взгляда на „роль личности в истории“.

А что появление великих исторических личностей, как и степень их влияния, обусловлены исторической закономерностью, Михайловский знал очень хорошо и неоднократно формулировал в почти марксистских выражениях. В статье „Граф Бисмарк“, появившейся в печати в феврале 1871 г., он писал: „Великие люди, люди будущего, являются в такие моменты истории, когда в обществе есть элементы, способные к развитию, но их немного,—если их много, то нет места величию личности. Вдохнув жизнь в эти плодотворные элементы, дав им толчок, люди будущего тем самым кладут основание новому историческому фазису“. И далее: „Первичной формации не жить. Это говорят законы истории, определяющие *порядок* исторических напластований. Но *скорость*, с какою известные исторические элементы выходят на сцену и сходят с нее, обусловливается личными усилиями деятелей“ [1].

В статье „Философия истории Луи Блана“ (август 1871 г., Соч., т. III, стр. 16—17) Михайловский приводит нижеследующие цитаты из Луи Блана, говоря, что вопрос о значении великих людей решается Луи Бланом „блистательно“: „Личность может играть в истории большую роль только под тем условием, если она есть то, что я желал бы назвать *представительным человеком* (т. е., вернее, „собирательным“. Перевод звучит по-русски каламбуром. *Б. Г.*) *Сила*, которою обладают могучие личности, почерпается ими из себя только весьма меньшею частью; большею же частью они почерпают ее из окружающей их среды“. И в другом месте: „Великие люди управляют обществом только при помощи силы, которую получают от него же. Они освещают его, только сосредоточивая в одном фокусе все исходящие от него лучи“. Процитировав эти места, Михайловский прибавляет: „Это одно из самых ярких и энергических определений значения личности в истории, какие нам только случалось встретить. Здесь удачно

---

[1] Сочинения, т. VI, стр. 104 и 108. Курсив принадлежит Михайловскому. Вспомним известное место из письма Маркса к Кугельману, писанное 17 апреля того же 1871 г. „Ускорение и замедление (событий) в сильной степени зависит от этих „случайностей“, среди которых фигурирует также и такой „случай“, как характер людей, стоящих вначале во главе движения“.

обойдены обе обычные крайности — неразумное отрицание великих людей и столь же неразумный „культ героев“ (там же, стр. 17).

Наконец, сам Михайловскй на примере Прудона делает удачный опыт объяснения личности со всеми ее противоречиями — *определенной социальной средой*, в частности, личности и деятельности Прудона — его мужицким происхождением[1] („Записки профана“, глава „Прудон и Белинский“, написанная в 1875 г.)

Но можно ли после всех приведенных нами цитат считать неправильными нападки марксистов на Михайловского? Конечно, нет. Самый характер этих цитат, их расплывчатость, готовность всегда сколько-нибудь определенной точке зрения противопоставить другую, а также ссылки на Луи Блана, — все это показывает источник этого незаконченного, неуверенного, зародышевого, так сказать, „марксистообразного“ исторического материализма Михайловского: этим источником является, конечно, *Чернышевский*, сыгравший огромную роль в развитии русской общественной мысли и, в частности, в мировоззрении самого Михайловского. Но именно у Чернышевского гениальные проблески исторического материализма опираются не на Маркса, которого он не знал, а на зародыши материалистического, вернее, „экономического“ понимания истории у *предшественников Маркса*. Если к этому недоразвитому и непоследовательному социальному материализму Чернышевского присоединить неразвитость наших общественных отношений, а также свойственный самому Михайловскому *эклектизм* (о котором нам еще придется говорить), отталкивавший его от всякой „узости“ и „односторонности“, то станет отчасти понятным, почему, несмотря на эти проявлявшиеся иногда материалистические склонности, Михайловский так резко-враждебно отнесся к историческому материализму, как к цельной, стройной и выдержанной теории. Но вполне понять эту враждебность можно будет лишь после ана-

[1] Так же он объясняет и Пушкина его дворянским происхождением, как бы предвосхищая этим известный анализ Плеханова. Вообще, к классовой или сословной идеологии Михайловский возвращается неоднократно. Это—одна из наиболее сильных его сторон, что, впрочем, уже указывалось некоторыми марксистами.

лиза общего социального мировоззрения Михайловского, в частности, его отношения к социализму. Этим мы займемся позже. Теперь же остановимся еще немного на основных возражениях Михайловского против исторического материализма, а также подробнее, чем в общей главе о его взглядах, на „субъективном методе".

Мы уже видели, что многие из возражений Михайловского и многие его нападки, казавшиеся столь странными и чудовищными его противникам из революционно-марксистского „подполья", как анонимные авторы „двух писем к Михайловскому", Ленин и другие, направлены были в сущности *против вульгаризаторов марксизма,* даже против будущих либералов, для которых марксизм был лишь удобной идеологической формой „приятия" капитализма. Против книги Бельтова у Михайловского не нашлось почти *никаких возражений по существу,* и он отыгрывался на критике дурного полемического тона и на некоторых частных ошибках Бельтова. Поэтому из всех вообще его возражений наиболее основными и серьезными были и остались указания на роль *национального и расового* начала в истории и их отрицательное влияние на чистую борьбу классов. Таковы его ссылки на вражду американских рабочих к китайским, столкновения французских рабочих с итальянскими, а также любопытное предсказание о грядущей европейской войне, во время которой рабочие разных стран „будут резать и грабить друг друга". К этому можно было бы прибавить факты гражданской войны между разными частями одного и того же рабочего класса данной страны (напр., Германии) в послевоенную эпоху, фашизм и многое другое, что свидетельствует лишь о большой *сложности* классовой борьбы, о длительном и прочном влиянии буржуазной и мелкобуржуазной идеологии на значительные группы пролетариата и т. д. В частности, опыт Октябрьской революции показал, что национальная и расовая борьба внутри пролетариата, как все пережитки буржуазных и даже еще добуржуазных влияний, как власть религии над человечеством, что все это сильно слабеет в эпоху диктатуры пролетариата, но может исчезнуть окончательно только много времени спустя после низвержения самого буржуазного общества.

Наконец, что касается „субъективного метода в социологии“, то и в этом отношении Михайловский отнюдь не является таким законченным типом исторического идеалиста и субъективиста, каким его изображала иногда полемическая марксистская литература, а скорее опять-таки эклектиком. Правда, это самый слабый пункт его социальной философии,—пункт, в котором он местами сходится вполне и с Лавровым и с его предшественниками, социалистами-утопистами первой половины XIX в. Так, если сравнить уже известную нам формулировку Михайловского — „*существенная задача социологии состоит в выяснении общественных условий, при которых та или другая потребность человеческой природы получает удовлетворение*“, с такой же формулировкой Лаврова — „*задача социологии общественный строй, удовлетворяющий естественным и здоровым потребностям народа*“,—то совпадение получается полное, причем обе эти формулировки представляют собою чистейший фурьеризм [1].

Но у того же Михайловского мы найдем немало мест, противоречащих такому наивному пониманию социологии, хотя везде его объяснения неясны, сбивчивы и подчас противоречивы. В „Записках профана“, т. е. в 1875 г. (Сочин., т. III, стр. 401—402), мы находим следующую попытку указать законные пределы применению субъективного метода: „Субъективный и объективный методы противоположны только по характеру, но ничто не мешает им уживаться совершенно мирно рядом, даже в применении к одному и тому же кругу явлений. Субъективным методом называется такой способ удовлетворения познавательной потребности, когда наблюдатель ставит себя мысленно в положение наблюдаемого“.

Здесь, повидимому, Михайловский имел в виду изучение низших, эксплоатируемых классов. Но он не подумал, как быть социологу, если он изучает *самый процесс эксплоатации* (как Маркс в „Капитале“), причем наблюдаемыми являются одновременно и эксплоататор и эксплоатируемый. Нельзя же одновременно одному ставить мысленно себя в положение обоих!

---

[1] См. мою статью „Лавров и утопический социализм“ в № 6—7 „Под знаменем марксизма“ за 1923 год. *Б. Г.*

С другой стороны, уже спустя два года, в знаменитой статье „Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского“, говоря о положении того будущего „ученика“ Маркса, который должен биться в безвыходном противоречии между идеалом, состоящим „в совпадении труда и собственности“, и необходимостью, по Марксу, „разлучения труда и собственности“, как первых шагов необходимого и в конце-концов благодетельного процесса“, Михайловский, правда, иронически, прибавлял: „Конечно, такое столкновение нравственного чувства с историческою необходимостью должно разрешиться в пользу необходимости. У иного нравственное чувство может и против смерти возмущаться, но ведь придет время, и он со всем своим нравственным протестом уляжется в такой же гроб, в каких лежат и никогда не протестовавшие“ (Сочин., т. IV, стр. 172). Словом, с одним субъективным методом против истории не пойдешь, и Михайловский предлагает поэтому критически отнестись к самой исторической концепции Маркса, чтоб установить, так ли уж неизбежен установленный им путь развития капитализма.

К этому вопросу мы еще вернемся. Теперь же нам хотелось бы в заключение еще раз отметить, что весь „субъективизм“ Михайловского сводится, в сущности, к протесту против мнимого буржуазного „объективизма“, равнодушного к судьбам эксплоатируемых масс, отдаваемых в жертву идеям „национального богатства“, „развития цивилизации“, „борьбы за существование“ и т. п. Ему хотелось бы объединить в одном синтезе „правду-истину“ и „правду-справедливость“. В переводе на марксистский язык это значит признать *неизбежность классовой точки зрения в общественных науках* [1]. И в высшей степени характерным для полного непонимания Михайловским глубоко-революционного со-

[1] Это в свое время отметил еще Л. Кржвицкий, а также Бердяев, когда был еще „марксистом“ или „полумарксистом“. С другой стороны, „субъектизм“ Михайловского, понимавшийся им в том смысле, что человек может и должен влиять на ход общественного развития, отнюдь не подрывая закономерности этого развития. Ибо и по отношению к природе Михайловский употреблял почти марксистскую (вернее, гегелевскую) формулу „человек победил природу, потому что понял свою зависимость от нее“ (II, 12).

держания марксизма является то, что он отделяет Маркса-ученого от Маркса-революционера, что Маркс-ученый, по его мнению, спокойно исследует фатальный исторический процесс, так что его „Капитал“ „*никакой апологии* [1] (*прав рабочего) в виду не имеет*“, и что лишь в виде противоречия к его собственной теории „фатальной непреклонности исторического процесса“ мы находим у того же Маркса... „*фабричное законодательство*“ (там же, 185 и 188).

В вопросе о судьбах капитализма в России Михайловский был очень далек от чистых народников, неоднократно и очень давно полемизировал с ними и задолго до появления „Группы освобождения труда“ указывал, что Россия сильно подвинулась в деле развития капитализма и что в самой объективной действительности нет никаких гарантий какого-то особого от Европы пути для нее. Уже в 1872 г., в заметке „По поводу русского издания книги Карла Маркса“ Михайловский писал: „Как бы ни ухитрялись наши мраколюбцы, торжество основных начал общечеловеческой цивилизации у нас обеспечено... Но мы знаем, что чем ближе мы подходим ко дню торжества цивилизации, тем более усиливается вероятность, что она у нас примет те же формы, какие она приняла в Европе, а она приняла, между прочим, и формы неправильные“ (X, 8). Если отвлечься от наивной фразы, так и отдающей утопизмом начала XIX в., о „неправильных“ формах, мы имеем здесь недвусмысленное предсказание о грядущем капитализме. Особенно резко подчеркивал это Михайловский в конце 70-х гг. А в „Литературных заметках“ 1880 г. он заявлял даже, что „наш национальный организм сроднился уже, слился с европейским“, причем, как мы знаем, делал из этого факта, между прочим, тот вывод, что раз вторжение Европы банковской и железнодорожной налицо, „пусть же придет Европа политическая и научная“. Еще раз он вернулся к этим соображениям в начале 80-х гг. в полемике с главным столпом чистого народничества—В. В., который в своей книге „Судьбы капитализма в России“ доказывал невозможность развития капитализма в России.

---

[1] Т. е. защиты.

Почему же этот самый Михайловский обрушивался на марксистов за их уверенность в том, что Россия пойдет по пути капитализма?

Тот же вопрос приходится ставить и в связи с отношением марксистов к крестьянству. Никогда Михайловский не принадлежал к тем, кто слишком превозносит социальные добродетели крестьянства и ждет от них обновления нашей „гнилой" городской цивилизации. „Идеализация мужика,—писал он,—есть не только ложь, но ложь особенно вредная". И если он моментами (в начале 70-х гг.) мечтал о том, чтоб „утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно", сохранив, впрочем, „тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа", то эта дань романтическому народничеству резко противоречила тому противопоставлению неправильных „мнений" народа его „интересам", которое мы находим несколькими строками выше только что цитированных слов („Записки профана", III, 707), причем эти „интересы" должна была, конечно, определять народолюбивая интеллигенция. Мало того, как мы еще увидим, он в то же время резко противопоставлял свое *культурное*, интеллигентское „я" той самой „серой, грубой массе народа", готовясь отстаивать от ее грубости все дорогие ему культурные ценности. Почему же его так возмущала известная фраза Маркса об „идиотизме" деревенской жизни"? Он ведь знал, конечно, кое-что и о тех революционных перспективах, которые связывались у Маркса с крестьянством. Далее он писал, уже в 1897 г., по поводу чеховского рассказа „Мужики": „Господа, подайте милостыню своего внимания подлинной вдове и сироте подлинного рабочего человека, где бы он ни работал, в деревне ли, в городе ли, и не сшибайте лбами двух разрядов людей, *жизнь которых в разном роде, но одинаково темна и скудна, одинаково требует и одинаково заслуживает участия...*"[1]. Но ведь, кроме тех „марксистов", которые ухватились за марксистские формулы, чтобы со спокойной совестью итти не только „на выучку к капитализму", но и на идеологическое служение ему, в глазах которых кре-

[1] Курсив наш. *Б. Г.*

стьянство в самом деле являлось лишь историческим удобрением и которые вполне заслуженно возмущали Михайловского, — кроме этих мнимых „марксистов“, особенно охотно им облюбованных в своей полемике, была еще *школа Плеханова*, из которой вышло *революционное крыло* русского марксизма, всегда смотревшее на капитализм как на своего врага, а на крестьянство — как на союзника пролетариата в будущей русской революции. Михайловский не мог не знать брошюр Плеханова—„Всероссийское разорение“ и „Задачи социалистов в борьбе с голодом в России“. Читал он, конечно, и адресованное ему в начале 1894 г., уже цитированное нами письмо группы марксистов, где мы, между прочим, еще до Ленина находим следующие замечательные слова: „По мере разорения крестьянства капитализм все настойчивее должен будет чувствовать потребность в факторе, ослабляющем вредные для него самого результаты отделения обрабатывающей промышленности от земледелия и расширяющем для него внутренний рынок[1]. Ход экономического развития сделает, таким образом, неизбежным улучшение положения крестьянства, и, когда затем всевозможные меры, направленные к этому улучшению, исчерпают свое действие, *возникнет союз между развившимся рабочим пролетариатом и разоряющимся крестьянством, под ударами которого и падет капитализм*“ („Былое“, № 23, стр. 122. Курсив наш. *Б. Г.*)

Все это не мешало Михайловскому упорно повторять свои насмешки по поводу мнимой веры марксистов в „фатальный исторический процесс“, свои обвинения по их адресу в игнорировании интересов крестьянства и т. п. При этом он упорно замалчивал *революционную* сторону их учения и деятельности или, в лучшем случае, признавал за ними лишь ту заслугу, что они несли просвещение в среду городских рабочих.

Это упорное непонимание и упорная враждебность к учению, с которым у Михайловского, как видно из

[1] Вследствие невозможности, как думали авторы письма, для русского капитализма завоевать внешние рынки. Цитированное место является как бы предсказанием столыпинских аграрных законов и курса на „крепкого мужика“.

всего вышесказанного, несомненно были многие точки соприкосновения, требуют объяснения. И это объяснение, кроме характера его писательской индивидуальности, следует искать и можно найти только в каких-то основных элементах его общественного миросозерцания.

★

Михайловский органически не выносил никакой строго монистической системы взглядов, никакого выдержанного и цельного мировоззрения, особенно общественного. Самой сильной стороной его умственной деятельности, как нам известно, был *разлагающий анализ*, острая и едкая критика, которая подкапывалась под все авторитеты, признанные современниками, которая во всякой системе отыскивала противоречия, считала ее недостаточной, неполной, односторонней, противополагала ей ряд исключений, смягчений, оговорок. „Односторонность“, т. е. строго выдержанная принципиальная точка зрения, была в глазах Михайловского теоретическим смертным грехом (что не мешало ему, впрочем, самому выдвигать совершенно фиктивные, надуманные общественные теории, вроде его теории прогресса, борьбы за индивидуальность и т. п.)

Достаточно вспомнить его выступления против философского материализма, его ненависть к Гегелю, его многолетнюю борьбу со Спенсером, его поправки к Дарвину и многое другое в его громадной критической работе, не говоря уже о систематическом развенчивании разных дутых знаменитостей, европейских и отечественных. Не признавал он никогда полностью и наших революционных теорий. „История нашего умственного развития, — писал он в статье „Еще о героях“ (т. II, изд. 1896 г., стр. 388),—представляет собою последовательную смену разных односторонностей“. И против всех этих „односторонностей“ он столь же последовательно выступал. Он громил Писарева, полемизировал и с бакунистами и с лавристами, презрительно разносил Ткачева. Даже по отношению к „Народной Воле“, с которой он больше всего сблизился и в органе которой сотрудничал, он сохранил, как мы знаем, известную долю скептицизма, оставался, так сказать, „при

собом мнении", что отразилось и в его нелегальном псевдониме „Гроньяр" („ворчун").

Этот эклектизм и скептицизм, столь характерные для Михайловского, естественно, еще усилились в эпоху реакции, что признает отчасти и его поклонник Русанов. Понятно поэтому, как должен был реагировать Михайловский на такое монистическое и в то же время полное бодрости, оптимизма и самоуверенности направление, как русский марксизм. Он ему казался просто неприличным, по кричащей яркости, пятном на том фоне нудного уныния, какой представляли собою последние писания самого Михайловского.

К этому присоединилось полное непонимание диалектического метода марксизма, который Михайловский упрямо отожествлял с гегелевской триадой, несмотря на то, что от нее открещивались и авторы цитированных нами писем, и Ленин в „Друзьях народа", и впоследствии (правда, менее категорически) Бельтов. Правда, мы помним, что в собственных писаниях Михайловский иногда, бессознательно для себя, сам применял диалектический метод, заимствованный еще у Прудона, конечно, незаконченный и непоследовательный (особенно в рассуждениях о противоречивости цивилизации). Но по отношению к марксизму, особенно к его „радостному прогнозу" (выражение Михайловского, иронически употребляемое в полемике с Бердяевым), он видел все его доказательство только в „отрицании отрицания", т. е. „гегелевской метафизике".

Вот тут мы и подходим к тому коренному, основному в социальном мировоззрении Михайловского, что не только мешало ему понять марксизм, но и вызвало в нем враждебное чувство к марксистскому оптимизму. Это основное было его *отношение к социализму*.

Для поклонников Михайловского не было и нет сомнений в том, что он был социалистом. Они могут в доказательство привести десятки мест его сочинений. Его статьи в „Народной Воле" носили заглавие: „Политические письма социалиста". Но, при ближайшем рассмотрении, мы увидим в „социализме" Михайловского ряд таких особенностей, которые диалектически превращают даже этот мелкобуржуазный социализм

в свою противоположнсть. Михайловский определенно не верил (или, по крайней мере, относился весьма скептически) в *развитие социализма из капитализма* и этим резко отличался от Лаврова, который твердо был убежден, что социализм в Европе будет результатом классовой борьбы пролетариата. Уже в первых статьях по поводу „Капитала" чувствуется скептическая нотка в вопросе об „экспроприации экспроприаторов" и дальнейшем обобществлении средств производства. Эта скептическая нотка с годами все усиливается. В 1883 г. в № 7 „Отечественных Записок", в „Письмах постороннего" Михайловский подвергает сомнению факт обобществления труда, придания ему общественного характера—самым ходом капиталистического развития. В 1892 г., по поводу утопии Беллами Михайловский пишет, что вместо того гадательного будущего, которое вытекает из экономического прогноза Маркса, можно теоретически допустить гибель всей европейской цивилизации, и что поэтому, ради гадательного будущего, никоим образом нельзя оправдать бесчисленные жертвы современного капиталистического режима (VII, 359—361). Ту же мысль высказывает Михайловский в 1895 г., в разгар полемики с марксистами, в частном письме к своему поклоннику Русанову: „Я думаю, что в ближайшем будущем солнце святое не загорится; а затем оно и вообще может загореться и не загореться, — в самом естественном ходе вещей я гарантии не вижу" („Былое" 1907, № 7, стр. 135). Наконец, около того же времени он сочувственно цитирует „Введение в философию" Паульсена, где доказывается, что социализм есть вера, которая обязательна только для верующих, и прибавляет: „Подобно Зомбарту, я считаю теоретически возможным, что развитие капитализма приведет к гибели всей современной культуры" („если действующая личность" не „будет обладать энергией принимать решения и стремиться к их осуществлению")[1].

---

[1] „Последние сочинения", I, 456. Если вместо туманной и ничего не говорящей фразы о „действующей личности" ввести в качестве условия классовую сознательность, солидарность и революционность пролетариата, то с такой постановкой вопроса может согласиться и марксист. Но в том-то и дело, что в историческую миссию пролета-

Поэтому у Михайловского все чаще встречается противопоставление „любви к дальнему“, т. е. гадательному будущему, ради которого приносятся бесцельные жертвы, — противоставление ей *„любви к ближнему“*, т. е. противопоставление культуртрегерства и филантропии—революционности. Как правильно писал когда-то по этому поводу Д. Б. Рязанов: „улита едет, когда-то будет“. Вместо того чтобы стремиться к недостижимому, к „дальнему“, не лучше ли присмотреться к „ближнему“? На свете так много страданий и горя! Забудем ли мы все это для какого-то далекого будущего, которое, может быть, никогда не настанет? И оставшийся „без дороги“ писатель... советует теперь Наташе (из повести Вересаева. *Б. Г.*), как Соломин Марианне [1], заняться „любовью к ближнему“ („Две правды“ из „Очерков по истории марксизма“, 1 изд., стр. 474).

Д. Б. Рязанов, как и большинство марксистов, противопоставлял при этом Михайловского 90-х гг. тому революционеру, каким он был в 70-х гг. Но мы уже знаем, что Михайловский 70-х гг. *тоже не был революционером* в социальном смысле этого слова. В самом деле, это вытекало, повидимому, из его *недоверия к революционным народным движениям*, которые, как и всякие стихийные движения, могут, по его мнению, приводить к самым неожиданным результатам. Чрезвычайно характерной в этом отношении является одна его фраза из статьи „Философия истории Луи Блана“, написанной в августе 1871 г., т. е. после Парижской Коммуны (Сочин., III, 3): „Луи Блан один из немногих

риата, как особого класса, Михайловский не верил. Вот что он писал в частности о *русских* рабочих: „У нас существует мнение, что наш фабричный рабочий гораздо развитее, гораздо выше, если не в нравственном, то, по крайней мере, в умственном отношении, нежели крестьянин. Это мнение решительно ни на чем не основано. Оно держится едва ли не потому только, что нечто подобное, действительно, имеет место в Западной Европе. Но если на Западе до некоторой степени, действительно, существует указанное отношение между крестьянином и фабричным рабочим, то оно обязано своим происхождением отнюдь не фабричному режиму, а влияниям совершенно иного свойства, каких у нас и в помине нет, именно—влиянию широкой политической жизни, которая, естественно, концентрируется в городах и едва достигает деревень“. Мы знаем теперь, как жестоко посмеялась история над этим рассуждением Михайловского...

[1] Из тургеневского романа „Новь“.

избежал Сциллы и Харибды—*парижских и версальских неистовств*" (курсив наш. *Б. Г.*) Итак, то восстание парижского пролетариата, которое сделало из Лаврова непримиримого революционера и социалиста, вызвало у Михайловского лишь представление о „неистовствах", которые он приравнивает притом к организованной версальцами бойне! Правда, несколько лет спустя, по поводу реакционной книжки некоего Ватсона „Эпилог франко-прусской войны", он глухо упоминает о каких-то распространяемых книжкой „небылицах". Но это не может смягчить впечатления, производимого фразой о „неистовствах".

По отношению к России Михайловский в народную революцию не верил и не считал ее желательной. Вот почему он с такой настойчивостью, в самых различных вариантах выдвигал свою любимую идею о „консервативном характере рабочего вопроса в России"[1]. Любопытен один из этих вариантов: „Коренные начала русской экономической жизни не требуют революции, изменения направления своего течения. Требуется только развитие этих начал. Будут ли при этом баррикады или нет, это все равно, т. е. в том смысле все равно, что не изменяет консервативного характера рабочего вопроса" (I, 736).

Понятно при этом, что если баррикады ничего не изменят в консервативном характере русского рабочего вопроса, то лучше обойтись без них.

В чем же заключался „социализм" Михайловского? Именно в *сохранении у „теперешних собственников их собственности*". Он допускал, что при благоприятных условиях из теперешней крестьянской собственности могут развиться высшие, социалистические формы. Это допущение было для него *менее гадательным*, чем марксовский революционный социализм, вырастающий из классовой борьбы пролетариата с буржуазией, и в то же время оно имело для него то преимущество, что избавляло народные массы от страданий, приносимых капитализмом, и от жертв гадательной по своим последствиям революционной борьбы. Здесь не надо

---

[1] При этом и он употреблял иногда выражение „язва пролетариата", от которой надо избавить Россию.

было во имя „любви к дальнему“ отказываться от „любви к ближнему“, в данном случае — от помощи крестьянину в деле охраны его собственности. И в осуществимость этой близкой, конкретной цели Михайловский вполне верил, еще в 1880 г. убеждая правительство в том, что только тот политический порядок будет прочен, который заинтересует миллионы, и что если „благонамеренные представители центральной власти“ вступят в союз с интеллигенцией против кулаков и развращенных местных администраторов, то крестьянство будет спасено от бедствий капитализма. Одновременно, как мы помним, Михайловский в этом же убеждал и народовольцев, в органе которых он писал (советуя им сблизиться с либералами), что они (либералы) „были бы еще ближе, если бы ясно понимали особенности условий русской жизни“. И дальше: „Америка, страна колоссальной наживы, не убоялась ввести у себя, хотя отчасти, принцип принадлежности земли земледельцу. Тем легче будет утвердить этот принцип у нас, где он и без того живет не только в душе народа, но и в сознании каждого порядочного интеллигентного человека“ („Политич. письма социалиста“, X, 35).

Какое место занимает такой „социализм“ в истории социалистических идей?

Из всех европейских мыслителей социалистического лагеря, под влиянием которых находился Михайловский (а среди них были и Луи Блан, и Лассаль, с их идеей государственной помощи рабочим ассоциациям, и Дюринг, и даже Маркс), наибольшее впечатление произвел на него *Прудон*. „Луи Блан лишен той страшной диалектической силы, какая свойственна беспощадно последовательной логике его знаменитого противника-товарища Прудона“ („Философия истории Луи-Блана“, III, 4). „Чтение его сочинений действует замечательно возбуждающим образом, как фермент. Это объясняется обаянием личности писателя: тем бурным клокотанием жизни, которым она полна и которое брызжет из каждой строки то в виде истинно громоносного гнева, то в виде пламенного призыва к чему-то, не всегда определенному, но всегда высокому и светлому, то в виде почти безумной смелости отрицания и критики“ („Записки профана“, III, 656—657).

Вместе с тем Михайловский вполне отдавал себе отчет в консервативном и мелкобуржуазном характере прудоновского „социализма“. „Отрицания собственности (у Прудона) в принципе нет и помина. *Для этого Прудон был слишком французский крестьянин,*—это очень важно заметить,—известный своей беспредельной, почти идолопоклоннической привязанностью к собственности“. „*Никакого резкого переворота он не желал*“ (там же, III, 647. Курсив везде наш. *Б. Г.*) Влияние Прудона на весь французский социализм Михайловский объясняет в той же статье разлитой в его сочинениях „идеей личности“, которая не могла мириться „с планами фаланстерианцев, икарийцев и т. п., *замыкающими личность в тесные и фантастические рамки*“ (там же, 657. Курсив наш. *Б. Г.*)

И вот, почти все то, что пишет Михайловский о Прудоне в приведенных выше цитатах,—и в положительном и в отрицательном,—относится также к нему самому. Михайловскому недоставало французского пафоса Прудона,—для этого он был слишком русский интеллигент. Но и его сочинения будят мысль, и они сильны разлагающей, мнимо-диалектической критикой, и в них центральное место занимает „идея личности“. Наконец, что важнее всего, и „социализм“ Михайловского, как мы видели, отличается таким же консервативным и мелкобуржуазным характером, как и социализм Прудона. И он, как Прудон, заботится лишь о сохранении за мелким собственником его собственности, причем и он, подобно Прудону, с характерными для мелкого буржуа наивностью и утопизмом ждет осуществления этого идеала при любых общественных условиях и притом от властей предержащих (вспомним известное обращение Прудона к Наполеону III).

Но в то время как Прудон во многих отношениях был ограниченный мещанин-самоучка, Михайловский был человек с широким образованием и не менее широким кругозором, свойственным русскому интеллигенту.

Зато, с другой стороны, в отличие от плебея Прудона, Михайловский, при всей своей любви к народу, смотрел на него сверху вниз и звал интеллигенцию, как мы видели, лишь к участию и жалости. Этот народ всегда казался ему грубым и темным. Что-то

презрительно жирондистское[1] чувствуется в знаменитом, не раз цитировавшемся месте из его „Записок профана“:

„У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкап с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями, разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, — я не покорюсь и людям деревни; я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки“ („Записки профана“, III, 692). Это место находится в *той самой главе*, из которой мы раньше привели цитату о готовности раствориться в серой народной массе. Здесь на протяжении одной главы, как в фокусе, собраны и ярко выявлены все противоречия нашей народнической интеллигенции. Мелкобуржуазный социализм отражает собственнические инстинкты и вожделения крестьянина, а свобода и суверенность личности — социальные потребности интеллигента.

Вот почему, как ни близко подходил иногда Михайловский к марксизму, между ним и марксизмом все же оставалась непроходимая пропасть, *пропасть непонимания*, отделяющая мелкобуржуазный социализм от научного коммунизма. Ибо Михайловский был в течение всей своей литературной деятельности высоко-талантливым и образованным — *интеллигентским прудонистом.*

VIII

Последние годы. Михайловский как писатель, общественный деятель и человек

Именно поэтому, когда с конца 90-х и начала 900-х гг. началось массовое революционное движение, студенческие и рабочие забастовки и политические демонстрации, кончавшиеся всегда жестоким избиением демонстрантов полицией и казаками, Михайловский остался верен себе. Он не возлагал никаких серьезных надежд

---

[1] Жирондисты, умеренно-буржуазная партия Великой французской революции, в отличие от якобинцев, боялись простонародья, по-тогдашнему „санкюлотов“, и одновременно презирали их.

на революционную активность масс, он не чувствовал дыхания приближавшейся революции. И если он так обрадовался возникновению партии социалистов революционеров, то лишь потому, что ждал от нее возобновления народовольческого *террора*, как средства воздействовать на правительство для получения политической свободы. Осенью 1901 г., после бурных весенних событий этого года, Михайловский писал сотруднику „Русского богатства" и своему почитателю, соц.-рев. Русанову: „Я предчувствую смутные, мрачные времена и вижу исход только в одном, в чем принять личное действенное участие не могу, а потому и другим рекомендовать не могу, но что фатально рано или поздно должно быть". Приведя эти слова, Русанов прибавляет, что почти в это самое время Михайловский говорил в Перми известной эсэровской „бабушке" Брешко-Брешковской: „Теперь должен начаться террор".

Обострение революционного движения вызвало, конечно, усиление полицейских и цензурных репрессий. В 1900 г. „Русское Богатство" — в первый раз за все свое существование—было закрыто на 4 месяца. Тогда же чествовался торжественно 40-летний юбилей литературной деятельности Михайловского, причем группа сотрудников „Русского Богатства", официальным издателем которого стал к тому времени знаменитый и любимый писатель В. Г. Короленко, посвятила Михайловскому интересно и талантливо составленный сборник „На славном посту". Все это еще раз обратило на него внимание полицейских и жандармских властей. Его опять стали вызывать на допросы в жандармское управление. А в конце 1902 г. Михайловский был вызван даже к всесильному министру Плеве, с которым у него произошел любопытный разговор, немедленно после того записанный Михайловский и сохранившийся в его посмертных бумагах (этот разговор, как и воспоминания о Вере Фигнер и статьи в нелегальных журналах, опубликован в X томе его сочинений)

Плеве делал Михайловскому отеческое внушение и предупреждение. „Литература умеет намеками, обходами и умалчиваниями делать свое дело, а дело это есть революция... Студенты, вообще молодежь рабочие, крестьяне — это все пушечное мясо. Двигатель —

печать, и она должна платиться за эти беспорядки и будет платиться: я именно хочу вас об этом предупредить. Я сделал однажды вам зло[1] и не хотел бы сделать его вам вторично... Но нельзя терпеть, чтобы за господ писателей платились их жертвы, вся несчастная увлекающаяся молодежь. Нам вовсе не весело вносить горе в семьи..." В ответ на возражение Михайловского, что „ведь у нас есть тоже дети, горе вносится и в наши семьи" — Плеве продолжал: „Я очень рад, если среди вас есть люди, чуждые подстрекательству молодежи, но в общем остаюсь при своем мнении... В частности, ваш журнал — главный штаб революции, особенно теперь, когда вы сразили марксизм и остались одни[2]... В „Союзе писателей" вы делали дождь и хорошую погоду, и вот теперь устроили самочинный комитет для празднования двухсотлетия печати". Запретив подавать какие-либо петиции о свободе печати, Плеве в заключение посоветовал Михайловскому на время уехать из Петербурга.

Спустя несколько дней Михайловский написал министру, что не может уехать.

Настроение его в последние годы жизни было довольно мрачное. Но при всем своем пессимизме он все же в основном оставался верен убеждениям своей молодости.

Почти накануне смерти, в январе 1904 г., предчувствуя надвигавшуюся русско-японскую войну, Михайловский написал, найденную потом в его бумагах, маленькую „Заметку о патриотизме", где мы читаем следующие глубоко справедливые строки: „Существует патриотизм естественный, патриотизм угнетаемых народностей, жаждущих свободы. Существует патриотизм, свойственный государству, которое, мечтая о расширении своих границ, подавляет свободу уже подчиненных народностей. И все это не позволяет пред-

---

[1] Повидимому, намек на высылку Михайловского в 1882 или 1891 г.

[2] Итак, Плеве разделял иллюзию самого Михайловского, понимая, очевидно, под марксизмом лишь *легальный* марксизм, сраженный не Михайловским, а самим Плеве. В подполье именно в это время огромной популярностью пользовался марксистский журнал „Искра", в числе редакторов которого были *Плеханов* и *Ленин*.

видеть в ближайшем будущем царства всеобщего мира. На другой день после англо-бурской войны, в самый момент македонского восстания и накануне страшных гекатомб (т. е. массовых жертв. *Б. Г.*), угрожающих нам на Дальнем Востоке, было бы странно верить в торжество справедливости, несмотря на страстное желание всех избранных душ.

Еще недавно мыслители, вроде Спенсера, думали, что промышленная деятельность, по самому существу своему мирная, положит конец войне. Это — ошибка. Развитие капиталистической промышленности вызвало поиски новых рынков и страстную борьбу из-за них. Кровь опять изобильно проливается, и прогресс международной ненависти идет параллельно развитию мирных идей.

Поэтому только полная ликвидация современной общественной организации может положить конец этому ужасному положению" (Сочин., т. X, стр. 63. Курсив наш. *Б. Г.*)

Увы!—величайшим несчастьем Михайловского было то, что он не видел путей для „полной ликвидации современной общественной организации", что он на деялся не на борьбу масс, а лишь на „избранные души" т. е. на интеллигенцию. Отсюда—источник его пессимизма, отсюда—тот факт, что он „предчувствовал лишь смутные, мрачные времена" и не видел в войне (что видели, однакоже, „побежденные" им марксисты) *пролога революции.*

Михайловский умер внезапно и спокойно от разрыва сердца, в ночь на 27 января (старого стиля) 1904 г., накануне первых военных действий. Похороны его превратились во внушительную демонстрацию. За гробом шли около 5 000 человек. Но похоронная процессия не раз встречалась с барабанно-патриотическими уличными манифестациями по случаю войны.

Можно было думать, что Михаловский был прав в своем глубоком и безнадежном пессимизме. Но это была бы ошибка. Наоборот, в высшей степени знаменательным было, что Михайловский умер как раз в тот момент, когда кончались десятилетия „мирного развития" капитализма и начиналась эпоха бурных потрясений, эпоха больших империалистических войн и грозных революций. И первой революцией после смерти Михай-

ловского была та российская революция 1905 г., к которой он столько лет относился скептически, которую считал „делом веры"...

★

Михайловский был прирожденным литератором. По существу он был прав, говоря в своих воспоминаниях, что для него не было жизни вне литературы, ибо даже в тех случаях, когда он пытался через посредство революционных групп и организаций вмешаться в политическую жизнь России, он делал это почти исключительно в литературной форме. Его попытки принять участие в тех или иных общественных организациях тоже вращались около литературы. Так, в 90-х гг. он участвовал в „Комитете грамотности", который издавал и распространял дешевую и популярную литературу для „народа", в 1900-х — был активным членом „Союза писателей" (на что и намекал Плеве).

Но в то же время чисто литературная деятельность Михайловского — как в своих положительных, так и в отрицательных сторонах — была несомненно настоящим *общественным* делом, сознательным служением тем общественным идеалам, которым он был верен всю жизнь и которые одно время одушевляли лучшую, наиболее чуткую, революционную и самоотверженную часть нашей интеллигентской молодежи. Это чувствовала молодежь даже и тогда, когда эти идеалы явно устарели, когда жизнь выдвинула новые программы и новые общественные классы для их выполнения. Поэтому, когда на студенческих вечеринках и балах, на литературных вечерах или концертах появлялась небольшая, стройная фигура Михайловского, с белой бородой и волосами, с благородным профилем и высоким лбом человека идеи, с умными, проницательными, немного грустными глазами, его встречали очень тепло, а иногда даже восторженно.

Писательская манера Михайловского, как мы уже указывали, являлась характерным для него смешением всех видов литературы, полным отсутствием стройности и выдержанности плана, постоянными скачками мысли и отступлениями, а также некоторой многословностью в аргументации. Но все это с избытком возме-

щалось особой простотой и задушевностью *тона*, который делал из статей Михайловского настоящую *беседу с читателем*, а также тем фейерверком мыслей, всегда интересных и нередко блестящих, каким полны все сочинения Михайловского и которые так привлекали к нему читателей с народническим настроением.

Михайловский был чрезвычайно талантливым *редактором*. Как видно из воспоминаний о нем ряда сотрудников „Русского Богатства“ (Горнфельда, Елпатьевского и др.), он умел выдерживать *строгое единство направления* своего журнала, придавать ему вполне определенную философско-общественную физиономию, не насилуя нисколько писательскую индивидуальность своих сотрудников, относясь к ним в высшей степени деликатно, как старший и более опытный руководитель.

Вообще, деликатность и строгая корректность в *личных* отношениях, на ряду с нередкой подчас резкостью и даже грубостью в литературной *полемике* (когда дело шло о защите дорогих для него убеждений или о развенчивании наглых самозванцев в науке и литературе),— эти деликатность и корректность были характерными чертами Михайловского как человека. К этому присоединялась еще большая сдержанность и замкнутость, некоторый холодок, нежелание допустить к интимным сторонам своего *я*—в отношениях Михайловского с малознакомыми людьми. Наоборот, с близкими друзьями и товарищами по литературной работе он умел бывать непринужденно общительным и заразительно веселым.

Строгая щепетильность к своим обязанностям, высокие нравственные требования—в области *не личной*, а *общественной* морали, — которые он предъявлял к людям одного с ним лагеря, все это вызывало к нему большое уважение близких людей, создавало ему глубокий морально - политический авторитет среди единомышленников.

Но все эти личные достоинства не могут затушевать для нас *классового* лица Михайловского, не могут затушевать того факта, что, начав свою деятельность как мелкобуржуазный демократ с туманной и типичномелкобуржуазной социалистической фразеологией, для которой он пытлся даже найти „научное“ обоснование,

он кончил полулибералом и злейшим врагом пролетарского социализма.

Эту эволюцию Михайловского, как и всего народничества — от революционеров 70-х гг. до их жалких „эпигонов“ 90-х гг.—Ленин в своих „Друзьях народа“ характеризовал в следующих словах: „Русский“ крестьянский социализм 70-х гг., „фыркавший“ на свободу ради ее буржуазности, боровшийся с „яснолобыми либералами“, усиленно замазывавшими антагонистичность русской жизни, и мечтавший о крестьянской революции,—совершенно разложился и породил тот пошлый мещанский либерализм, который усматривает „бодрящие впечатления“ в прогрессивных течениях крестьянского хозяйства, забывая, что они сопровождаются (и обусловливаются) массовой экспроприацией крестьянства“ (т. I, стр. 98).

А 20 лет спустя, после великого опыта первой российской революции, после того как литературная группа Михайловского, группа „Русского Богатства“ давно уже официально превратилась в полукадетов с народнической фразеологией, образовав партию „народных социалистов“ („энэсов“), Ленин, подводя итоги деятельности Михайловского и характеризуя его историческую роль, писал (Собр. соч., т. XVIII, 3 изд., стр. 223—225):

„Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной открытой печати—хотя бы намеками — сочувствие и уважение к „подполью“, где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью“[1]. „Но, будучи горячим сторонником свободы и угнетенных крестьянских масс,—продолжает далее Ленин, — Михайловский разделял все слабости буржуазно-демократического движения. Ему казалось, что передача всей земли крестьянам — в особенности без выкупа—есть нечто „социалистическое“; он считал

---

[1] Т. е. революционным организациям. Статья Ленина была подцензурная, и этим объясняется ее „эзоповский“ язык. *Б. Г.*

себя поэтому „социалистом“. Разумеется, это глубокая ошибка, вполне разоблаченная и Марксом и опытом *всех* цивилизованных стран, в которых *постоянно* буржуазные демократы, до полного падения крепостничества и абсолютизма, воображали себя „социалистами“...

„Михайловский очень долго, свыше десятка лет, был главой и душой группы литераторов „Русского Богатства“. Что же вышло из этой группы в великие 1905—7 годы? Вышли первые ликвидаторы среди демократии“.

Поэтому, — заканчивает Ленин, — „мы чествуем Михайловского за искреннюю и талантливую борьбу с крепостничеством, „бюрократией“ (извините за неточное слово)[1] и т. д., за его уважение к подполью и помощь ему, но не за его буржуазно-демократические взгляды, не за его колебания к либерализму, не за его группу „социал-кадетов“ „Русского Богатства“.



[1] Т. е. с самодержавием. *Б. Г.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

55 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЯ: МОСКВА, БОГОЯВЛЕНСКИЙ, ДОМ № 4. КНИГОЦЕНТР

